

**МИХАИЛ  
БЕЛОЗЁРОВ**

ЖЕЛЕЗНЫЕ  
ПАРУСА

Михаил Белозёров

**Железные паруса**

«Остеон-Групп»

2003

**Белозёров М. Ю.**

Железные паруса / М. Ю. Белозёров — «Остеон-Групп» , 2003

ISBN 978-5-85689-233-7

На Земле по неизвестной причине пропадают люди. Остаются единицы – те бессмертные, которые в обыденной жизни даже не подозревали о своем бессмертии. Пустую планету заселяют самые различные существа – в том числе пришельцы и мыслеформы. Мир становится одновременно реальным и вымышленным. Прошлые и настоящее перемешались. Земля сделалась непригодной к жизни. Оставшиеся люди прячутся в пещерах, строят ракеты и спасаются бегством, улетая в Космос. Через много-много лет они возвращаются в виде биороботов, абсолютно не приспособленных к жизни на Земле, и перед ними встает вопрос, как вновь превратиться в людей и заселить планету. Главный герой с символическим именем «Он» проходит множество испытаний, прежде, чем понимает, что он – единственный человек, который может спасти человечество от полного вымирания.

ISBN 978-5-85689-233-7

© Белозёров М. Ю., 2003

© «Остеон-Групп» , 2003

## Содержание

Железные паруса	6
Глава первая. Жена	7
Глава вторая. Темная материя	20
Глава третья. Заводы Мангун-Кале	44
Конец ознакомительного фрагмента.	46

# **Михаил Белозёров**

## **Железные паруса**

*Посвящаю моему другу, красавицу-эрделю, – Африканицу, Афри...*

## **Железные паруса**

*Закат происходит, во-первых, в виде крушения мира, запечатленного метафизикой, и, во-вторых, в виде исходящего от метафизики опустошения мира.*

**Мартин Хайдеггер.**

*Настоящее – это время, отпущенное на размышление...*

## Глава первая. Жена

### 1.

– Я никак не могу освоиться, – сказала жена. – А ты, ты уже привык?

– Почти, – ответил Он.

Был вечер. Низко светило солнце. И они мчались по широкой, теплой долине с мягкими, покатыми склонами и редкими белыми домами за пышными деревьями.

– А мне все еще странно, – создалась она.

И мне, подумал Он.

Иногда мелькали машины – груда железа или почти целые – еще не сгнившие под жарким солнцем или зимними дождями, – грузовики, хранящие на капотах остатки зеленой краски, загораживали дорогу, и тогда они аккуратно их объезжали, легковушки – большей частью по обочинам, тупо уткнувшись спущенными скатами в густую полынь, и уж совсем редко – автобусы, почему-то обязательно распахнутые настежь, с исполосованными сидениями и вывернутыми панелями управления, – ржавые, в неопределенных потеках. Но лучше всего сохранился красный цвет, и машины под ним казались совсем новенькими.

Они давно привыкли к этому. Людей там никогда не было, да и не могло быть, и единственное, что привлекало – бензин, который они перекачивали в свои канистры.

Людей не было и в поселках, которые некогда хорошо просматривались с трассы, а теперь были скрыты густым подлеском чудовищно разросшихся трав, кустарника и хаотично стоящих деревьев. Деревья кое-где проросли сквозь полотно дороги и ломались под бампером почти без треска.

– Мне иногда кажется, что они счастливы, – почти нараспев произнесла жена.

– Счастливы? – спросил Он с вздохом. – Если бы знать...

Он наизусть помнил все эти бесконечные разговоры переливания из пустого в порожнее, почти ничего не дающие, а лишь оставляющие на душе тревожный осадок – не недосказанности, нет, а нечто, что стояло за ними, быть может, того, что проскальзывало в словах или само лезло в голову со странной навязчивостью, как непрощенный гость с завиральными мыслями, как некто, кто намеревается крутить тобой по собственному желанию. «Чур-чур меня», – шептал Он.

Для него самого это было табу, и Он не мог передать в словах, что владело им, когда она заводила разговоры на эту тему. Единственное, Он твердо знал, – говорить было излишне и даже, отчасти, опасно, как была опасна, вообще, вся их жизнь последние годы с тем набором неопределенностей и противоречий, которые сопровождали каждому дню, каждому мигу – хотя бы только ему самому. Он допускал, что жена ничего не замечала или не умела замечать – все те малейшие нюансы, которые буквально выпирали из обыденности, крутились, лопались перед глазами, переливались, строили рожицы, поливали тебя водой, творили несусветное, пели, стонали, плясали и убивали – тихо, незаметно, или, напротив, словно обухом из-за угла, высушивали и собирали, складировали, накапливали, перемальвали, инвентаризировали не тела, не мысли – души – научить этому было невозможно. Мало того, сам Он часто попадал впросак, потому что в полной мере еще не умел пользоваться своими способностями предвидеть и часто обыкновенная навязчивость – липкая и невидимая, как лесная паутина, сбивала с толка, и каждый раз Он давал зарок быть внимательнее и больше придавать значения Знакам.

Но в тот вечер Он тоже его пропустил. Как ни старался, а пропустил.

– А если бы и знать, что мы можем сделать? – поинтересовался Он.

– Бедная-бедная мама, – произнесла она.

Господи, что я временами не люблю в ней, подумал Он, так это ее замкнутость, недоступность. Вроде бы, она есть, и одновременно нет, вроде бы, я в чем-то виноват или должен быть виноват – по большому счету... по женским выводам... черт знает почему... потому, что она считает нужным, а я не считаю, по тому, что она знает, а я не знаю. И так будет всегда, вечно, и, слава богу, потому что по-другому не бывает и не будет. А самому мне и так неплохо, главное, что она рядом и пес тоже, и главное, что я могу распоряжаться собой.

Все-таки Он был порядочным эгоистом.

– А если мы кого-то встретим? – спросила жена.

– Ну что ж... – ответил Он, поглядывая на «калашников», укрепленный в зажимах под приборной доской. Автомат лежал там давно, и Он ни разу не пользовался им – случая не представлялось. Да и, честно говоря, совсем не желал такого случая. Но тренировался до некоторого времени регулярно, пока не надоедало. Так что, не меняя рожка, с двухсот метров мог расколотить гору бутылок, – если б было, кому ставить. Ставить бутылки было некому.

– Нет, уж лучше не встречать, – заключила она. – Зачем нам неприятности. Нам и так хорошо!

Бойтся, решил Он. Конечно, бойтся. И ты боишься. Встреть кого-нибудь, – так ведь в штаны наложишь. Поневоле стрелять начнешь. Если уж такое суждено, так пусть где-нибудь подальше, лишние волнения ни к чему.

Потом, задним умом, понял, что это и был Знак, – как ни старался, а все-таки пропустил, – не привык, не освоился, не знал еще, что чувствительность – его главный козырь.

– Все-таки мне кажется, кто-то должен еще остаться! – сказала жена.

– Конечно, должен, – согласился Он, а сам подумал, ну до чего женщины любят создавать сложности, которые потом надо расхлебывать мужчинам.

– Если мы, то и еще кто-то... – добавила она.

– Лучше бы без посторонних, мне как-то спокойнее, – сказал Он.

– А мне хотелось бы... – вздохнула она.

– Ну зачем тебе, – начал злиться Он. – Зачем? К чему? Рисковать?

– Вечно ты шарахаешься. – Сверкнула она своими черными глазами. Она прекрасно умела это делать в нужный момент, так что Он почти не выходил победителем.

– Я не шарахаюсь, – возразил Он. – Но хочу предупредить, мы ничего об этом мире не знаем, мы слепы как котята, поэтому надо быть осторожным и...

– А!.. ну тебя... дай мне жить, как хочется...

Он едва не поперхнулся. Ее убежденность просто злила его. Это был один из моментов, который Он совершенно не понимал. Теперь Он всегда боялся, что она совершит какую-нибудь глупость, а Он не сможет ее удержать или просто не углядит в какой-то миг, как можно не углядеть за ребенком в большой шумной комнате, полной маскарадного люда.

Больше они к этой теме не возвращались и ехали молча.

Долина раскинулась еще шире. Горы с обеих сторон стали почти что игрушечными, – словно нарисованными гуашью на мелованной бумаге.

– Ладно, не злись, – сказала она, – я не права.

– Я и не злюсь, с чего ты взяла.

– Я же вижу. Не права я, не пра-ва...

– Даешь слово?

– Даю.

– Поклянись.

– Чтоб ты сдох!

– Ладно, мир, – согласился Он.



– Тогда давай свернем вон туда, к тем домикам. – И она показала на холм, где на самой вершине торчали две крыши.

Уж очень ему не хотелось останавливаться у тех домиков – как на ладони. Он предпочитал уединенность, да и вода, наверное, далековато, на машине надо везти. Но вода, и притом отличная, обнаружилась в колодце. Даже ведро привычно стояло на срубке, что несколько удивило его. Он всегда удивлялся чужим вещам, словно застывая их врасплох. И пока не мог докопаться, почему так происходит. Вещи всегда жили своей жизнью, даже когда принадлежали людям. Только с некоторого времени Он начал замечать, что они словно бы пропадают, – стоило о них чуть-чуть подзабыть. А потом снова появляются совершенно в иных местах. И если были из металла, то – сплошь окисленные, будто их держали в уксусе.

От колодца Он двинулся к дому.

У них был уговор – пока ничего неизвестно, она сидит в машине и никуда ни шагу.

Африканец уже шастал по двору, вынюхивая непонятно что; и Он краем глаза следил, как пес задирает лапу на заросший лопухами палисадник.

Дорожка к дому была выложена бетонными плитами, между которыми рядами жестко стояла трава. Чтобы подойти к деревянному крыльцу под жестяную кровлю, крашеную синей выцветшей краской, ему пришлось продирается сквозь траву, и каждый раз башмак удобно и твердо становился на гладкую серую поверхность, а под подошвой похрустывал мелкий песок.

Пес бросил поливать лопухи и, убедившись, что хозяин никуда не делся, уткнул нос в траву и, обогнув полуразвалившуюся поленницу, скрылся за углом.

Надо было бы позвать его. Он любил, когда оба они были на глазах, – самая лучшая привычка, которую Он приобрел за эти годы и которая не раз выручала их. Но сейчас Он почему-то решил, что звать пса не стоит, сверх того, Он почувствовал, что чем тише они будут себя вести, тем лучше.

Еще не доходя нескольких шагов, Он привычно окинул взглядом ступени, дверь и большое окно слева, где, должно быть, была веранда, и ничего не заметил. То есть та привычная пыль, которую они встречали во всех иных местах, так же нетронуто лежала и здесь, и окна были мутные, словно политые сиропом, и даже в щелях половиц проросли одуванчики и дали потомство целой колонии на подгнившем дереве. Но автомат держал под мышкой дулом вперед и барабанил пальцами по магазину. И все равно что-то смущало – невидимое, повисшее, замершее, и Он, рассматривая дом, пытался нащупать, – что именно, и пока ничего не находил ни в себе, ни снаружи, а стоять под вечерним солнцем было приятно и даже немного дремотно.

Не нравится все это мне, думал Он, почему одуванчики там проросли. С каких пор они селятся на деревяхках. Хотя нет, одуванчики, как одуванчики. Надо будет в других местах посмотреть, а то чем черт не шутит. И дерево странное, словно не стояло под открытым небом, не мокло и не высыхало, все в тех же трещинах и облупившейся краске, и даже гвоздь торчит. Но почему-то необычный, – кованый, квадратного сечения, словно из древности какой-то. И все равно – как-то и что-то не то, как будто видишь нечто, но не можешь правильно назвать, как в детском садике или еще лучше – яслях. Словно тебе показывают и говорят, смотри, здесь сделано так, а отойдешь пару шагов и будет по-другому. Но суть от этого не меняется, ибо ее как таковой нет в привычном понимании, а есть большее, глобальное, пусть полупроявленное, неявное, но осязаемое. И главное, что ты уже чувствуешь и различаешь то, что раньше тебе было не под силу, а теперь ты немного орел, совсем немного, самую капельку, – но приобщился, с чем тебя и поздравляем. Только не обольщайся очень-то, а то, знаешь, костей не соберешь. Ведь вас не зря здесь оставили, для чего-то вы ведь нужны. Так что выбирай сам – сейчас или потом. Только помни, «потом» имеет то преимущество, что терпит. Оно терпит сколько угодно, пока тебе не надоест или ты не сделаешь промах внутри себя, и первый шаг будет цепочкой целого ряда событий, которые никогда не просчитываются и не предугадываются. А пока стой и тренируйся, глядя на несопоставимые вещи и тайные метки, и думай, а главное –

чувствуй и настраивайся. Нет, пожалуй, не так – ощущай и регистрируй, или так – анализируй и запоминай, или – впитывай и втекай, или – растворяйся и плыви, а точнее – все вместе, ибо эти пограничные состояния родственны, но не более. А тебе надо уметь настраиваться сразу по всем каналам, инстинктивно, шестым чувством, держать все в голове, проявлять чудеса эквилибристики на невидимом и явном. Ясно? А можно спросить? Спрашивай. Для чего все это? Э-э-э милый... извечный вопрос. Разве то, что ты видишь, не приоткрывает и не показывает. Что ж ты хочешь, чтобы тебя водили за руку? Да, я предполагал такое положение вещей. Вещи в этом мире так же иллюзорны, как, например, и этот дом. Дотронься до столба.

Он очнулся, словно от толчка. По-прежнему светило желтое солнце, от нагретой травы поднимался одуряющий запах, сам Он стоял на первой ступеньке, держась правой рукой за перила, а ладонь без сопротивления, как в пух, погружалась в податливое дерево, и темная щель вдоль волокон, походившая на зияющую пропасть, раздвигалась, как засасывающая ловушка, над которой Он наклонился, готовясь перепрыгнуть. И уже знал, что не допрыгнет, скатится на дно, откуда никогда не выберется, не выползет, где ему бессрочно предстоит скитаться, бродить среди прелых, гнилых равнин с низким выжигающим солнцем, вдоль бесконечно звенящих струн, составляющих основу мироздания. И сам Он станет частицей этого мироздания – бестелесной, мягкой, покладистой и послушной до обезличивания, до омерзения, до новой смерти.

Это продолжалось не более взмаха ресниц. В следующее мгновение все встало на свои места – прогнулась-выгнулась балка, края сошлись и под ладонью снова была твердая, шершавая поверхность. Он даже не успел испугаться или удивиться. Он уже знал, что это так же реально, как и привычный автомат на боку или колодец за спиной, в котором отражалось небо. Мир переплетался, цеплялся невидимыми нитями, иллюзорность его была так же очевидна, как и дом, и крыльцо, и перила – это было совершенно ясно. Он боялся, что если оглянется, то не обнаружит ни привычного пейзажа, ни автомобиля, ни самого себя. Скорее всего, это будет еще один дом и еще одно крыльцо с новой загадкой, которую надо будет решать, с тем набором неопределенностей, о которых кто-то из великих воскликнул: «Боги не играют в кости!» Чтобы проснуться, Он просто ущипнул себя.

И в этот момент заорал, запаниковал Африканец. Именно запаниковал, потому что другого сравнения не было, быть не могло и искать его было некогда – даже в самых худших бреднях. И Он бросился на крик, на ходу передергивая затвор. А лай, перемещаясь, перешел на отчаянный фальцет, вывалился отступающим, приседающим псом с ощерившимся оскалом, и еще «нечто», – в чем Он вначале разобрал пестрый ком красок: атласные шальвары, волосатую грудь с блестящим золотом медальона под раздернутой до пупа рубахой, а потом – свиное рыло и желтые, как у козы, глаза с вертикальным разрезом темных зрачков, смотрящих абсолютно равнодушно, словно в пустоту, и – редкую белесую щетину на розовой коже, покрытой струпьями вьевшейся грязи. «Оно» молча двигалось, до жути знакомо выказывая под верхней губой белые загнутые клыки и мелко подергивая капризными углами рта, словно, как заика, собиралось выдавить из себя звук. И Он тотчас вспомнил, что часто видел такие оскаленные морды в витринах магазинов, где они наваливались горкой, взирая на мир подслеповатыми замуренными глазками и разводами запекшейся крови из ушей и желтой пеной из точно таких же пастей.

И тут Африканец, воодушевленный появлением хозяина, подскочил и сделал то, чему Он часто учил его, – попытался ухватить существо за кисть. Прыжок вышел чистым. И вначале Он решил, что пес промахнулся, потому что он просто пролетел мимо и приземлился на все четыре лапы – несколько даже жестко от неожиданности. И сразу же повторил бросок – прыгнул из неудобного положения с разворотом. И вышло то же самое – челюсти, вооруженные огромными клыками, впустую щелкнули в воздухе, и Африканец в какой-то момент совершенно беспомощно завис в верхней точке прыжка. И тогда рука, совершив неимоверный

маневр, схватила его за загривок и швырнула с такой силой, что внутри Африканца утробно и глухо что-то хрюкнуло, а существо, до странности равнодушное к происходящему и до этого походившее на ожившую статую, повернуло голову и медленно, с неимоверно тайной властью, зловеще потянулось к автомату и ухмыльнулось, как будто сообщая, – брось ты эту железку, какого черта! в этом деле она ни к чему.

И тогда Он стал стрелять, уже зная, что ничего не сможет сделать ни в этой ситуации, ни с самим существом.

Он увидел, как первая очередь прошла от шеи до пояса, и пули, впиваясь черными всплесками, вылетали позади клочьями материала и еще нечто таким, серовато-неопределенным, что тут же со всхлипом и чмоканьем втягивалось назад. И уже пятясь и чувствуя на лице хриплое, смрадное дыхание и с отчаяния задирая ствол и вдребезги разнося череп, понял, что падает и что автомат в руках превращается в раскаленный кусок металла и стекает на ноги.

\* \* \*

Он пришел в себя ночью. Привычно пахло остывающей машиной, горячим воздухом и пыльной травой снаружи. Где-то в кустах громко стрекотали цикады и звенело: «Зынь-нь-нь-нь...» Собственно, от этого Он и проснулся. Сел и спустил ноги на пол.

В темноте мерно и спокойно дышала жена.

Он взял фонарик и осторожно вышел через заднюю дверь. На темном небе едва прорисовывались еще более темные крыши, под ними неясно громоздились какие-то беззвучные тени, и Он почему-то не отважился включить свет.

Через минуту следом выбрался Африканец, звеняще потянувшись, а потом, как большой, тяжелый кот, стал ходить и выгибаться, норовя потереться спиной.

– Ну... все, все... а то разбудишь. – Придерживал Он его, чувствуя позади эти дома, напрягшуюся темноту и, стараясь повернуться спиной к машине.

Но жена проснулась сама. Вышла, белея в темноте, и сказала:

– Что-то мне тревожно... нехорошо... Давай уедем...

Уже начинало светлеть, когда они собрались и выехали на шоссе. Теперь оно казалось чужеродным и противоестественным в этом мире трав, деревьев и тишины. И сами они в своей машине почувствовали себя посторонними, лишними, никому ненужными, занятыми тем, что оглядывались, боялись неизвестно чего – своих мыслей и просто желаний, необдуманных поступков и привходящих событий в неожиданных закономерностях, которые не поддавались прямому анализу, были запутанны и нелогичны.

И тогда Он вдруг ясно и четко с тем набором ощущений, которые почти рожают реальность, вспомнил вчерашние события и ожоги на руках, и с теми ежесекундными чувствами, которые обгоняют мысли и от которых перехватывает дыхание, посмотрел под руль – автомат со сложенным прикладом лежал на месте, и ремешок, чтобы не мешал, привычно был обкручен вокруг ствола.

– Ты ничего не помнишь? – осторожно спросил Он, поворачиваясь, чтобы по ее лицу угадать то, что сидело и в нем – страх.

Если бы она не удивилась, Он бы что-то заподозрил, – ведь она была настолько его женой, что не могла не уловить праздности вопроса.

– Вчера? – спросила она на выдохе.

– Да, – ответил Он.

– ... заехали во двор и легли спать... – сказала она, еще надеясь неизвестно на что.

– Это я помню, – кивнул Он.

– Больше... ничего-о-о... – произнесла она, взглядываясь в его лицо и пытаясь помочь.

Она почти помогла.

– Точно... ничего... приснилось... – облегченно произнес Он.

– Была душная ночь. У моря будет прохладнее...

– Да, – машинально повторил Он, – будет прохладнее...

Потом...

Потом они увидели след.

Обычный, четкий, ясный след протекторов на утреннем асфальте, где и росе места не было.

И Он подумал: «Вот оно – еще одно начало. Когда я сюда свернул?»

А она произнесла испуганно:

– Не надо, не надо... ведь ничего не случилось.

Но Он покачал головой:

– Я все время боялся...

– Но может быть, это не «оно»?

– Лабиринт имеет множество входов, – произнес Он и замолчал.

– Я не хотела... – сказала она, я не хотела...

– Ты здесь ни при чем, – возразил Он, – совсем ни при чем... Не здесь, так в другом месте...

– Бедный, ты мой, бедный, – сказала она.

А Он подумал, что неизвестно, что лучше, быть бедным или одиноким. Но одиноким не с ней, а в самом себе, и не в силу обстоятельств, а от Веры, которую подтверждают тебе каждый день, каждую минуту и которой ты должен, обязан – верить, проникаться, любить – ни больше, ни меньше, как раб, как собака, как червь. Ибо ты оставлен, и жена твоя – тоже, и еще – пес. А это что-то значит, пока еще неизвестно – что, и тебе позарез надо разгадать, заглянуть за штору – и ты чувствуешь, что положишь на это свою жизнь, свою и чужую – и еще бог весть что – вот что страшно! Но все равно ты, как каторжник, тянешь свою колоду и будешь тянуть, потому что это твой крест, загадка, судьба, потому что нет ничего заманчивее узнать то, что узнать опасно, страшно или просто невозможно, потому что, наконец, тебя просто к этому подталкивают шаг за шагом, а вот что из этого выйдет – это уже вопрос. Но лучше к нему не обращаться – преждевременно или не преждевременно – как бы там ни вышло, – не делать шага, а оно само вынесет, естественным путем, – если дано, конечно. А вот об этом лучше не судить и не иметь собственного мнения, потому что это не твоя власть, а судьба, и не твое дело, а Перст Божий!

## 2.

Ту губительную свою ошибку Он сделал позднее, в спешке, когда времени на размышление совсем или почти не было, что, конечно же, было одним и тем же. А в тот момент, выходя из подъезда особняка, где они ночевали, Он успел заметить «их» первым и тотчас замер по хорошо отработанной привычке человека, который не раз побывал в шкуре охотника или дичи. И вряд ли был так хорошо замечен в темном провале парадного, как Африканец – на еще ярко-зеленом газоне, скрупулезно исследующий ствол каштана и впервые оплошавший по столь серьезному поводу.

И хотя с этого мгновения действовал чисто автоматически – прислонился для устойчивости к дверному косяку и рассматривал улицу поверх мушки, ведя ею слева направо, – интуицией, всей кожей чувствовал, что там позади, на последних ступенях лестничного пролета, замерла жена, тревожно вглядываясь в его спину и полностью полагаясь на здравомыслие мужа.

Но тот, кто появился так неожиданно из-за газетного киоска, казалось, ничего не замечал и давал некоторую надежду на благополучный исход, потому что даже с расстояния в полсотни шагов производил впечатление тюфяка и обжоры, хотя из-за своего роста вполне мог сойти за

ресторанного вышибалу. Двигался он вдоль решетки, за которой шумела река, и, пожалуй, шум ее был единственным звуком раннего утра, не считая грузного шарканья подошв по плитам тротуара.

За столько лет Он почти отвык от чужих шагов, и теперь это резало слух, и походило на вторжение в его жизнь – гораздо более опасное, чем могло показаться на первый взгляд. Но, наверняка с таким же успехом можно было предположить, что принадлежат они добродушному малому – любителю местного виноградного вина, которое можно еще было раздобыть в подвале какого-нибудь дома.

Последний раз Он встречал людей с полгода назад. И это не вызывало в нем теплых чувств, хотя тогда ему не пришлось демонстрировать свой фокус с пистолетом. Просто в любом случае у него был козырь – хорошая реакция и везение. Просто везение от Бога. А этот Толстяк, одетый в нелепый красный свитер с разорванным воротом, подстриженный до странности по той последней моде – голый затылок и виски, – которую теперь вряд ли можно было назвать последней в ее первоначальном смысле, и мерно, вразвалочку, вышагивающий к одному ему известной цели, разумеется, был одним из тех, кто полагается только на первородство силы, – это было просто написано на его лице и ощущалось в медвежьей, неловкой фигуре и матросской походке и одновременно не вязалось с уверенной целеустремленностью, – словно сопричастной с окружающим и единовременно чуждой всякому единению, сама по себе, хищно, одномоментно угоднически в этой точке и напротив, попирающее ее, ни шатко, ни валко, плоско, тягостно и оплывши. По крайней мере, Он чувствовал, что что-то здесь не то и не так, но только не знал, что именно и где попадется, и пытался угадать, с какого момента опасность станет реальной, хотя она уже была реальной, она не могла не быть иной с появлением людей.

Но пока преимущество было на его стороне. И Он позволил себе чуть-чуть расслабиться, облегченно вздохнул и оглянулся; тотчас позади на ступенях шевельнулась жена и улыбнулась ему из темноты.

Он совсем не хотел ее волновать и подумал, что через десять минут они смогут покинуть этот город и что до сих пор им везло и повезет сейчас. И когда уже был готов поверить, что все обошлось, ибо Толстяк наконец-то миновал открытое пространство перед ажурным мостиком и скрылся за торцом дома, – как вслед за ним, из-за того же самого киоска, появился еще один; и Он до слабости, подкатывающей откуда-то из живота, понял, что сейчас что-то должно случиться, – слишком беспечно Он чувствовал себя последнее время и слишком солнечное было утро и небо над зубцами перевала. Но самое отвратительное заключалось теперь в том, что именно с этого момента лично от него уже ничего не зависело, – словно ты попал в иной поток, – потому что течение событий так же трудно изменить, как быть лучше того, чем ты себя представляешь.

Этот второй был прямой противоположностью Толстяку – хил, тщедушен, наверняка пьяница с лицом цвета ржавчины и обладатель вихляющей, подпрыгивающей походки. В общем, – из числа тех, кого в былые времена хватало на любом мало-мальски крупном вокзале с двумя-тремя пивными и сквериками, где можно поваляться на травке.

И если тот, первый, не имел при себе оружия, то этот лениво тащил на плече двустволку, поддерживая ее лапкой и вертя головой по сторонам.

Черт его занес сюда, подумал Он, какая дикость, почему именно этот головастик? эта тень, отпечаток каблука в сырой земле, тыльная сторона зеркала?! И тут же ответил сам себе: «Потому что у него такой же шанс, как и у тебя, потому что тот, кто Свыше, не склонен делать различия между тобой и кем-либо другим, потому что лично тебе не дано знать больше того, что ты знаешь и больше того, что ты чувствуешь, потому что...»

Вернее, Он начал мысль и сразу отбросил и больше ни о чем не думал, ибо Хиляк увидел Африканца и начал стаскивать с плеча ружье. И было такое ощущение, словно разыгрывается странный спектакль и ты против воли должен участвовать в нем.

Он делал это так медленно, словно в дурном сне, где можно к радости и облегчению проснуться в теплой постели. И так неловко – запутался локтем в ремне, перехватил цевку правой рукой, развернулся, выставил левую ногу, как на стрельбах, и принялся приподнимать плечи – вначале правое, а затем – левое, – что Африканцу наконец-то надоело обнюхивать ствол и он, развернувшись, побежал в горку к дому, боком от Хиляка – рыжий, в огненно-рыжих подпалинах, почти сливающийся с опавшей листвой.

Теперь он был слишком приметной мишенью, как на заказ, по выкладке в первоклассном тире, где тебе даже не надо думать, а только нажимать на курок, а в перерывах между выстрелами потягивать пиво.

Теперь Он знал, кто этим занимается. Пару дней назад на въезде в городок, они видели несколько убитых собак вдоль обочины с явными признаками того, что их расстреляли из машины. Порой Он и сам пользовался властью сильнейшего, но никогда не убивал ради удовольствия. А теперь его заботило одно, – чтобы надвигающаяся фигура Африканца не заслонила Хиляка. И стрелять пришлось чуть выше того, чем Он привык. И с того момента, как мягко щелкнул курок, и до того, как почувствовал привычную отдачу, понял, что попал, попал с первого выстрела и больше ничего не надо делать, но все равно еще раз опустил ствол и выстрелил два раза – «хоп-п-п... – хоп-п-п...», и знал, как это бывает – порой для этого словно требуется протянуть руку и смять человека, но на этот раз Он выпустил из него воздух, проткнул и выпустил, и Хиляк походил на сдувшийся шарик или грудю тряпок, лишенную трепета тела.

А потом – потом, когда надо было наконец действовать без промедления, Он тоже не ошибся. Он не мог и не хотел ошибаться, у него не было на это права, – как не было его секунду назад нарушать тишину утра или тайную связь вещей в их высшей зависимости. Но ему пришлось нарушить, и теперь надо было расплачиваться – для начала быстрым отступлением.

Потом Он повернулся второй раз, встретил умоляющий взгляд жены, попытался ее приободрить – это была их старая игра, такая же долгая, как жизнь, – под ногами плутоватой тенью прошмыгнул Африканец, и они побежали – вначале темным подъездом, через черный ход с холодным, тленным запахом умершего дома, затем – ярко освещенным двором, вдоль кирпичной стены и окон в серых многолетних подтеках, по мягкой, толстой подушке разросшихся трав и прелых листьев, затем – узким лазом между гаражами к едва различимой тропинке на склоне горы, за спасительные густые кусты – самым коротким и наименее опасным путем, который Он наметил вчера, пока солнце еще не село в море. Он никогда не говорил жене, о чем думает, глядя на дорогу или пустынный пляж. Он всегда стремился быть готовым к неожиданностям. Он исповедовал философию неожиданностей. Он не хотел, чтобы она смеялась над его чудачеством, хотя порой ему казалось, что их обоюдное молчание особого рода – просто Он слишком любил ее, чтобы подвергать риску.

И единственной его мыслью в течение этих одной-двух минут, которые показались вечно, в течение которых Он даже не имел возможности оглянуться, был Толстяк – этот Вышибала, этот Хряк с кабаньим загривком. Теперь во всем этом голубом утре он больше всего заботил его, и Он не мог понять, чем, – то ли своей сытой уверенностью, то ли неспешной отрешенностью. И эта неясность была хуже всего. И только на склоне, за пышной зеленью, Он на мгновение остановился и оглянулся: двор был пуст. Точнее, он был абсолютно пуст, не было даже намека на движение за развалившимся крыльцом, с которого они сбежали, или пары поросячьих глаз из-за угла, обшаривающих холм, и уж конечно, – неуклюжей, мешковатой фигуры с оттопыренными ушами над стриженным затылком. Что могло, по крайней мере, означать две вещи: либо Толстяк еще не оправился от растерянности, либо принял какое-то решение и уже действует.

Лучше бы я его видел, подумал Он, лучше бы я его видел... Если это охотник за людьми и что-то смылит в таком деле, то обязательно будет обходить нас снизу за теми домами, а

потом попытается перехватить где-то на центральной трассе, если, конечно, что-то смыслит... И снова в нем шевельнулась тревога, потому что неопределенность всегда бывает сродни предательству, ибо то и другое приходят неожиданно.

– Все обошлось? – спросила жена.

Она слегка запыхалась, а лицо у нее покраснелось от быстрого бега.

Для начала Он промолчал.

Все это – ночевка в доме, где их прельстили, широкий мягкий диван, мраморный камин и толстый белый ковер перед ним, – было, конечно же, ее, только ее затеей, и Он уступил, как уступал многим прихотям, усматривая в этом некоторый элемент снисходительности к женским слабостям, впрочем, они так же были и его – в той же самой мере, потому что они давно были одним целым.

– ... ты ведь стрелял просто так? – спросила она с тайной надеждой.

Она была слишком похожа на него, чтобы Он удивился ее реакции.

По-моему, я так и не привык, подумал Он, и сейчас это случается не чаще и не реже, чем вначале. Просто люди встречаются с тобой и уходят – одни туда, где их уже ничего не волнует, другие – дальше, своей дорогой, если не хватаются за оружие и достаточно осторожны.

– Мне пришлось сделать это... – ответил Он, заранее зная, какие у нее станут глаза. – Мне пришлось это сделать! – повторил Он, видя, как она внутренне отшатнулась.

В чем они были разными – так, пожалуй, в этом – в ее непредсказуемости или, вернее, – в женской непоследовательности, которую Он понимал чисто умозрительно и к которой пытался приспособиться в той мере, в которой мужчина, вообще, можно приспособиться к нелогичным вещам.

– А вспомни других, разве они были лучше? – Он сразу решил прекратить давний спор, потому что мир стал таким, каким стал, и давно не признавал никаких правил, и в нем можно было жить только по новым законам, и Он знал эти законы.

– Мне надо было сделать это! – твердо произнес Он еще раз.

Но она вырвала руку и отвернулась.

– ... и спорить некогда! – добавил Он, думая о Толстяке и представляя, что он уже покрыл половину расстояния до моря.

– Тебе ужасно нравится убивать! – произнесла она с вызовом, делая ударение на последнем слове.

– Нет, – ответил Он, – не нравится, просто... просто...

Но я не могу объяснить того, что произошло со мной там, в доме, за эти несколько секунд, и это невозможно объяснить, даже ей. Это все равно, что слепому рассказать, что такое солнечный свет, или хромоту, как ложится под ноги земля, когда ты бежишь к морю или вдоль берега по мокрому песку и за тобой почти не остается следов, а то, что остается, сразу слизывают шипящие волны. Это невозможно объяснить, когда тыходишь в жесткий клинч и толпа, и липкий противник становятся синонимами всего ложного и враждебного в мире, которому ты должен противостоять до последнего дыхания, последнего толчка сердца. Это нельзя объяснить и потому что ты давно все решил, выпестовал и не сам по себе и не по собственному желанию, а, хочется думать, – неложно, и это тоже тормоз в общении с ней.

А может, и правда, нравится, устало подумал Он, и я совершенно запутался. Нет, Он тут же оборвал себя, даже сама мысль уже есть ошибка, разве тебе недостаточно Знаков, и ты недостаточно набил колени. Да нет! нет! Тысячу раз – нет!

– Ты... ты... не представляешь, каким стал... – обреченно выдохнула жена.

– Послушай, – терпеливо произнес Он, сам удивляясь своей выдержке, – у нас совсем мало времени, чем раньше мы отсюда уберемся...

Нет, ее невозможно было сбить так просто с толку, и Он знал это.

– Во мне все копится, копится... – пожаловалась она, – а ты совсем ничего не замечаешь...

Да замечаю я все, хотел возразить Он, но ничего не сказал, а потянул за собой. И Африканец, беспокойно сидящий перед ними на тропинке и то и дело приподнимающий зад и перебирающий лапами, сорвался и скрылся впереди за кустами. Кусты были по-осеннему никлыми с вялой бледной листвой, и бежать пришлось совсем немного – до каменного забора, где они отворили скрипучую калитку, перед которой, пританцовывая, поджидал Африканец, – через узкий двор, застроенный верандочками с тюлевыми занавесками, покорно ждущими чьей-то руки, какими-то сараями и курятниками с распахнутыми дверцами, – к воротам, которые выходили на проезжую часть улицы.

Здесь они остановились, и Он достал пистолет. У него был тяжелый надежный «Браунинг» модели GPDA с удобной рифленой рукояткой. Настолько удобной, что стоило сунуть руку за пазуху, как он сам ложился в ладонь и большой палец занимал привычное место поверх предохранителя.

Улица была пуста. Она убегала далеко вниз, почти к самому устью реки, где мутная вода с гор широким разливающимся потоком отмечала свой путь в глубине залива; дальше, за шапками толстостовольных платанов, раскидистых сосен и низкорослых пальм, полуколыцом набережной и стройных линий причалов с выброшенными на берег прогулочными катерами, чуть выше в гору, виднелись: старый город с незаметными отсюда, а на самом деле – с черными выгоревшими кварталами и улочками, усыпанными закопченной битой черепицей, блестящая на солнце колокольня и уж совсем дальше, за складками горок, на фоне неба, – громадный корпус гостиницы.

Он рассматривал все это и пытался угадать, по какой дороге лучше всего уходить, по главной ли – через центр с долгим, затяжным подъемом между домами и по серпантину кривых улочек. И представил, как их джип натужно ревет на поворотах и будит всю эту сволочь, засевающую неизвестно где. Или же через рынок, тихонечко с горки, почти через всю набережную, мимо остова гостиницы.

И так и так было плохо, ибо если они зацепятся, то могут перехватить его и в самом городе, и в равной степени там, дальше, когда они начнут подниматься от ботанического сада к белой колоннаде, где будут видны со склона, поросшего редкими соснами, как на ладони. Был еще и третий путь – назад, в ту сторону, откуда они приехали.

Так ничего и не решив, Он перебежал на другую сторону первым, как в гангстерских фильмах, держа улицу под прицелом, и спрятался в арке проходного двора, а следом перебежала жена, придерживая Африканца за ошейник, и улыбнулась той улыбкой, которая так нравилась ему в ней и которая была свидетельством того, что все, что случилось после выстрела, уже неважно да и не должно быть таковым, оттого что она знает это, и вспышка ее не имеет и не должна иметь никакого значения, ибо она все понимает и прощает его.

Она перебежала – и ничего не случилось. Он даже немного обрадовался. В сущности, она всегда удивляла меня, подумал Он облегченно, даже после худших размолвок – сколько бы лет ни прошло, и всегда заставляет держаться в форме. Это похоже на допинг перед гонгом или – на глоток коньяка, отличного коньяка.

Но сколько бы такое ни повторялось, мне всегда трудно угадать в ней это, потому что, сколько ты ни выходил на ринг или ни пил коньяк, это всегда сохраняет свой вкус и каждый раз вкус новый и к нему невозможно привыкнуть, и я рад этому. Я всегда знаю, еще подумал Он, что она никогда не изменится, иначе она не была бы сама собой.

– Знаешь что... – сказал Он, повернувшись, – ты просто... просто...

– Что просто? – спросила она, улыбаясь объяснению мужа в любви.

– Просто...

– Ну что, просто?



– Просто, и все! – сказал Он.

И она засмеялась.

– Ты так ничего и не решил?

– Мы сейчас уедем отсюда, – сказал Он. – Сядем в машину и уедем.

– Туда, где снег? – спросила она.

– Да, – сказал Он. – Мы будем ходить на лыжах и пить горячее вино.

– Но вначале я хочу пожить на островах.

– Мы возьмем любой катер и отправимся на любой остров. Там полно грибов.

– Как здорово! – воскликнула она.

Неужели когда-нибудь нам наскучит такая жизнь, подумал Он.

– Я хочу туда, где совсем маленькие деревья и комары.

– Я тебе это обещаю, – великодушно сказал Он.

– С-с-с... – произнесла она, прижав палец к губам, – слышишь? – и замерла.

Африканец остановился и посмотрел вверх на влажные крыши.

– Слышишь? – спросила она еще раз.

И тогда Он различил слабое жужжание – настолько слабое, что оно едва пробивалось в настоящей тишине смолистого воздуха, разбавленного редкими криками чаек на пристани, где они селились плотной колонией, ссорившихся ворон в соседнем проулке, шелесте и цоканье перебегающей по веткам кедра белки.

Машина, решил Он, и не более чем в двух километрах.

– Бежим! – крикнул Он.

И они, свернув за угол, вбежали во двор двухэтажного дома, где у них в гараже стояла машина; и она, прижавшись к стене, пока Он возился со створками ворот, произнесла:

– Ты когда-нибудь меня загонишь...

Теперь Он чувствовал, что начинает проигрывать. И еще не отдавая себе полностью отчета в этом, лихорадочно думал, что это плохо – хотя бы оттого, что все происходит не так, как хотелось бы. В спешке у него никак не ладилось с засовом. Может быть, они выследили нас на западном побережье, где мы не осторожничали, подумал Он, или еще раньше в тех крохотных городках, где было много солнца и винограда на рыжих склонах и где мы задержались так долго, пока это не надоело и нерусский пейзаж не приелся и захотелось чего-то попроще, неизысканного, родного. Или это просто случайность. Хотя в этом мире случайностей нет. Но откуда они взялись, черт возьми, эта новая популяция кретинов с ружьями, словно весь мир сбесился. И Он снова почувствовал, что сегодня утром преступил черту и каждый шаг теперь ценен, как жизнь.

Наконец Он распахнул ворота и попал в гараж. Машина была на месте. Видавший виды кузов с багажником на крыше и двумя канистрами для воды по бокам, но мотор – мотор был, как зверь – в триста двадцать лошадиных сил, обкатанный и проверенный на том, что называлось теперь дорогами после того, как последний раз человеческие руки прикасались к ним лет десять назад. И шины были новенькие, поставленные всего неделю назад в гостиничном гараже где-то в Альпах. В полумраке они радовали глаз зубчато-правильными выступами и походили на башни крепостной стены.

И тут Он вспомнил, что в доме у них остались вещи: рюкзак, спальники и примус с какой-то мелочевкой.

– Ты посиди, – сказал Он, – я мигом, – и уже заскакивая в два прыжка на крыльцо, – под мышкой тяжело хлопнул пистолет – краем глаза увидел, как Африканец, перемахнув через сиденье, бросился следом за ним.

Рюкзак Он нашел сразу. Бросил в него фляжку и ту сумочку, в которой жена держала косметику. Потом вспомнил, что палатка и спальники лежат на веранде, и заскочил туда. И когда уже укладывал вещи, какое-то движение по ту сторону стекол привлекло его внимание,

и Он увидел, что вдоль стены, выложенной гранитными валунами, поросшими подушками яркого мха, на полусогнутых крадутся две фигуры, а чуть дальше, влево, из-за закругления, выглядывает передок машины.

Он почти уже вытащил пистолет, когда они оба разом выстрелили в распахнутые ворота.

«Бух-х-х!...»

Дослал первый патрон.

«Бух-х-х!...»

Вышиб стекло.

«Бух-х-х!...»

Выстрелил первый раз в этот грохот и сразу же еще раз и еще, потому что в том, в которого Он целился, как в заколдованном, ничего не менялось – он оставался все так же сосредоточенно-нацеленным туда – на ворота, прикрытый деревянным прикладом винтовки. Но в следующее мгновение с ним что-то произошло, – настолько противоестественная текущему порядку метаморфоза, сродни тайному союзу или сговору, словно кто-то третий, выступающий главным распорядителем жребия, отдернул занавес, – и Он понял, что попал. Попал еще и потому, что убийца, не меняя позы, начал оседать, а тот, второй, который остался цел, не понимая, откуда стреляют, озираясь, бросился под защиту дома. И тогда Он подпустил его вплотную и вышиб ему мозги прямо на мостовую. А лежащий у стены еще шевелился и пробовал ползти, и, наверное, путь к машине казался ему бесконечно долгим.

Если у них нет врача, подумал Он, то его дело дрянь, и сейчас же с тем диким ужасом, который существовал в нем неизменно и которому в реальной жизни места не было, подумал о жене. Вернее, Он думал о ней всегда, почти всегда, соотнося всех их троих, как единое целое, неделимое в этом странном мире. А в тот момент понял, что внизу случилось что-то страшное, то, что не должно было случиться ни при каких обстоятельствах. И эта мысль его спасла, потому что Он повернулся так резко, что тот, кто наносил удар, промахнулся, и удар получился вскользь, неточным – в левое предплечье. И единственное, что Он успел, скорее инстинктивно, чем осознанно, рефлексивно сжаться – по давней боксерской привычке, и перенести вес тела на правую ногу. Но все равно удар вышел сильным, очень сильным. И на мгновение Он потерял ориентацию, но боли совсем не почувствовал, а только успел понять, что Африканец молча висит на ком-то и рвет его. После этого Он ударил сам – куда-то вверх, откуда нависал квадратный, тяжелый лоб. Ударил по всем правилам, как умел и как давно не бил, как хотел ударить – коротко и сухо. И удар получился классический, с резкой отдачей в кость, потому что противник просто пер, не обращая внимания на пса, а только, как бы мимоходом, пытаясь страхнуть его. Пер, не прикрываясь, без всяких штучек – финтов или уклонов, как чаще всего поступают тяжеловесы, не знакомые с ближним боем, выставив вперед самое уязвимое место – челюсть. И когда Он ударил, пороссячи глазки под нависшим лбом вдруг страшно удивились, лицо вытянулось, промелькнуло куда-то вниз, и Хряк рухнул на колени.

Хряк стоял и мотал головой, как человек, который вытряхивает песок из волос, а Он раз за разом наносил короткие крученые удары от бедра, снизу вверх, чуть загибая кисть, – как в тяжелую мокрую подушку. И чувствовал, что кулак погружается во что-то булькающее и всхлипывающее. Потом Вышибала просто упал вперед всем телом, сгреб его и принялся душить.

И ему пришлось совсем туго, потому что одна рука не слушалась, а ногами Он никак не мог зацепить противника за шею – Хряк тихонько переползал и переползал на грудь, сопя и растягивая губы в разбитой ухмылке. И только тогда, когда между ними втиснулось что-то родное, рыжее, рычащее, и Хряк, взыв и оставив на горле два пальца, срезанные как бритвой, отскочил в сторону, тряся рукой и разматывая вокруг ярко-красную ленту, дышать стало легче.

Все остальное Он видел, как в немом кино, но со всеми бутафорскими звуками, словно кто-то одномоментно включал и выключал фонограмму: хрип бронхов, взвизг битого стекла

под каблуками, звон упавшей ложки и грохот опрокинутого стула. Звуки лопались, как барабан, и пропадали. Но «то», что так стремительно появилось из стены, было абсолютно беззвучно и больше походило на черное облако, принимающее на ходу человеческие очертания. Не доходя пары шагов до Хряка, «оно» вытянуло вперед руку, Вышибала на всем ходу словно ткнулся в невидимый шест и, согнувшись пополам, начал падать. А «то», не оглядываясь, прошло сквозь него и вошло в противоположную стену.

## Глава вторая. Темная материя

### 1.

Снег валил дней пять, мягкий, как перина, надоедливый до однообразия и сухой, как крупа.

По ночам вдали грохотало, – словно проносились тяжелые длинные составы, и было слышно, как на стыках стучат колеса. Иногда гудело, как тысяча басовитых струн, и билось розовато-мертвенное пламя в полнеба.

Но все это не имело к ним никакого отношения.

Они ночевали в сугробах под деревьями, вылезая по утрам на девственно-белую равнину, утрамбовывали пяточек перед норой и разводили костер. На морозе снег скрипел, как несмазанные дверные петли.

Потом жадно глядели на вспыхивающие сосновые ветки и ждали, когда будет готова еда. А через час снова были в пути. Но перед этим Он успевал проглотить пару страниц из потрепанной книги, которую запихивал в глубокий карман, и когда у них случались привалы, поглощал обложку, не рискуя достать и испортить удовольствие легкомысленным пятиминутным наскоком.

Вначале Африканец бежал то впереди, то сбоку, слизывая вислые белые хлопья с развилок кустов и проваливаясь по брюхо, потом пристраивался позади, и по частому дыханию и порой – царапанью когтей по задкам лыж, Он убеждался, что пес рядом.

Местность была однообразная. Разросшиеся леса – пустые и застывшие. Одиночные строения – почти неразличимые под белыми наплывами, изредка – поля, поросшие невысоким заснеженным кустарником. Нелепые акведуки, провисшие провода, железнодорожные станции.

Один раз они вышли на дорогу и долго шли, потом углубились в лес и повернули на север. Города они обходили.

Пригороды начинались домишками, разбегающимися опорами, угадывались еще издали, еще до того, как на горизонте начинали маячить крыши высотных домов. Или выползали сразу за соснами квадратными коробками с темными, немymi окнами.

Но в тот день они почему-то не свернули вовремя, и Он понял это, когда они выскочили на голую равнину озера и увидели, что над вершинами деревьев на противоположном берегу появились черные глазницы многоэтажек. Их было пять или шесть, и Он подумал, что наверняка дальше начинается квартал – настоящий квартал, с настоящими витринами, возможно – даже метро, подземные переходы, брошенные квартиры с библиотеками, где наверняка можно найти интересную книгу, холодные, но все же ваннe с сухими пауками по углам, деликатесные консервы, которые теперь доставать все труднее и труднее, стекла, за которыми падает снег, столы, за которыми можно сидеть, и – те существа, с которыми лучше не встречаться, а если уж и встречаться, то во всеоружии знаний, которых нет и вряд ли будут. Но то, что город – это опасно, Он знал, и Африканец – тоже, потому что у них уже был опыт, который научил чувствовать загодя, быть готовым наперед, отсекаль неожиданности, – кроме одного – подчиняться холодному рассудку, логике, потому что логика и рассудок в новом мире давно стали ложными и не всегда срабатывали, потому что в основу были заложены иные начала и иное миропонимание, которые не всегда просчитывались, потому что человеческие чувства теперь всегда и везде проигрывали, и они понимали это.

И вовсе они никакие не существа, привычно думал Он, обрывая сосульки с бороды, и даже не живые, а черт знает какие. Невесомые – точно, бесспорно – как хруст под передками лыж, как дыхание вон у Африканца. И уж если что-то осталось человеческое, то неужели только то, что умеет морочить голову хитрее всякого хитреца, да еще так иезуитски утонченно, что не сразу разберешь, сам ли ты думаешь или тебя водят по кругу. И это еще по-божески. А то вдруг прикинется чем-нибудь похлеще – водяным или русалкой, или еще кем-нибудь из всего того, что успело понапридумывать человечество – вампиром, например, или косматым каким-нибудь во плоти – понимай, как хочешь, и разбирайся, если успеешь, или сумеешь, или просто повезет. В общем, одно: расхлебывай теперь сам и крутись в меру способностей, и нет тебе снисхождения, и некому тебя пожалеть.

А может, там никого нет, думал Он, опираясь о палки, все то, что охраняло от вымирания и способствовало выживанию. Может, они сбесились от одиночества или настолько слабы, что им нет дела до нас, и теперь нет, ни хорошего, ни плохого, ни бедного, ни богатого, а одно холодное и мрачное – «оно», устроившееся на горбу у всего люда, как наездник на жертве, если... если я не ошибаюсь и сам же ничего не придумал, копаясь в этом дерьме, в котором запутаться пара пустяков – если ты занимаешься этим достаточно долго, то есть настолько долго, что накопил у себя в голове кучу фактов из окружающего, – что годится для земной логики, – если ты сам веришь и не веришь, если ты ни на что не годишься, кроме самокопания, ты поневоле будешь сомневаться до самого последнего момента – даже если тебе покажут что-то, потрясут побрякушкой в воздухе, вот, мол, и мы, – тебе достаточно только увидеть, чтобы сделать вывод, – лучше не верь, не верь, и все! потому что это прямой путь свихнуться, отречься от прошлого и настоящего, разувериться в собственной памяти, а это капитуляция, полная потеря надежды вернуться, ибо с этого момента ты странным образом трансформируешься в «нечто», одно из названий чему есть и в человеческом языке – бесконечность, и потеряешь собственное имя и станешь одним из многих, хотя и приобретешь без всякой корысти множество приятных свойств, но которые не компенсируют тебе ни индивидуальности, ни свободы. Но вначале ты услышишь голос или голоса и даже поверишь им, потому что тебе некуда деваться, и ты будешь делать экран из фольги и обертываться в него и думать, что это поможет.

Ну вот, ты уже сомневаешься. Так-то! Самоуверенность всегда плохой советчик. Это скажет любой Исследователь... Хотя, если рассудить... Стоп! Откуда это слово, да еще с заглавной буквы. Не хочу я быть никаким исследователем. Я сам по себе. Мне ни до кого нет дела. Я ко всему отношусь прекрасно, я уважаю любое мнение и для меня все равны. Прошу принять мои слова как признание полного почтения и, если Вам угодно, покорности. Да ты не петушишься, не бойся, и много не думай. Излишество низводит к посредственности. Живи, как травка, – одним днем. Отдайся течению, урви свою долю счастья и меняйся, меняйся, меняйся. Что тебя мучает? Старые долги? Забытые книги? Не придавай значения. В понятие прогресса не входят человеческие чувства. Все катится само собой, как оно катилось еще при царе Горохе. Отступления нет. Есть лишь копошение. Балансировка вокруг средней точки. Все копошились, и ты копошишься, и будешь копошиться, ибо это неизменно, вечно, стабильно – ваша будничность и серые мыслишки, как бы половчее прожить и шельмануть без огласки и последствий, над которыми, ты знаешь, никогда не воспрянуть, не взлететь, не восторжествовать. Похоже на маятник, на магические знаки, на вкус меда во рту после выпивки, потому что все всегда неизменно, как навязчивый кошмар, как вздохи-выдохи, как калоши в школьном мешке – помнишь или нет? Что страшно? Ничего, ничего – зато надежно, многозначительно, неизменно и серо. Сегодня ты один, завтра – другой, а послезавтра – третий. В этом тоже прелесть. Ищи ее, ищи! А сейчас было бы неплохо истопить печь, погреться, а не спешить неизвестно куда и зачем. Чего бояться? Правильно?

– А? – спросил Он скорее у себя, чем у Африканца, оборачиваясь и с минуту бездумно и молча разглядывая, как спина друга верно и постепенно покрывается островками нетающего

снега. Потом, ко второй половине дня, она ничем не будет отличаться от окружающего белого мира, а вечером снег придется счищать рукавицей вместе с мелкими прилипшими сосульками.

Нет, машинально думал Он дальше, береженого Бог бережет, обойдутся, нечего там шляться, запутаться можно, мы теперь лакомый кусочек для их экспериментов. Правда, может, они уже настолько ослабли, что было бы интересно взглянуть, пощупать, принюхаться, да... но... опасно, очень опасно, и рисковать не будем, подождем... весны, времени у нас много, а там видно будет, может, что-нибудь и придумаем, хотя, что мы можем, а? Покричать, поулюлюкать. Нет, не годится. Разрушить пару домов? Было – не помогает. Не помогает, и все. А брать надо хитростью и разумением-умением, только умение – пасынок знания, а знания-то нет – вот что плохо, потому что все устроено так, словно за семью печатями, как в швейцарском банке, или похлеще – в зоне у сталкера, или что-то вроде этого, только у него почти, ну почти все, было определено, вот как у Стругацких, он сунул руку в карман и потрогал книгу, а у нас – черта-с два, и неизвестно, что лучше. И сравнивать, практически, не с чем. Поэтому мы туда не пойдем. Не пойдем и все! Мало ли, что в голову лезет. Пускай лезет, а мы сделаем по-своему! Нечего смотреть на нас пустыми глазницами. Вылупились! Знаем мы вас. Много звона, и ничего – пустота, не за что уцепиться. Не пойдем, точно! Жизнь дороже любопытства – это вон и Африканец скажет. Отбили атаку – ну и ладно. А наш путь дальше – кружить вокруг да около и наматывать на ус. Там видно будет, что предпринять. Может, они сами все передохнут от какого-нибудь чиха или холодной воды – мало ли что жизнь подскажет. Вот пусть и разбираются, раз завели ее, а наше дело маленькое, до поры до времени...

– Правда? – спросил Он, и пес насторожил уши, а потом неожиданно повел заиндеветой мордой в сторону темного леса.

И Он посмотрел тоже, но ничего, кроме однообразных стволов, сливающихся в сплошную стену, не обнаружил. Но на всякий случай решил подобраться к зарослям камыша – не бог весть, какое укрытие. Озеро было большим, и чтобы быстро добежать до берега, и думать было нечего.

Они пробежали то того места, где камыш мельчал и торчал ломаными, рыхлыми кучами, а деревья выше, по-над горкой, лежали вповалку, и ему подумалось, что если там кто-то есть, то обязательно за этими снежными наносами и ничего другого не остается, как двигаться на выстрел, – уж слишком хорошей мишенью были они на фоне этого проклятого камыша – как на ладони, да еще в темном, и Он грудью чувствовал, как тот в лесу ведет стволом, выбирая момент, чтобы между ними не было веток.

Слава богу, что первый выстрел Он все же услышал и даже заметил вспышку на холме, и тотчас упал и перекатился под рыхлую кучу и даже успел скинуть лыжи, когда поверху, над самой головой, пронесся огненный шар и абсолютно бесшумно слизнул верхушку ближнего куста. Африканец только оскалил зубы. И Он понял, что нарвался на неожиданный сюрприз ранее не виданный и уж точно непонятный и неземной. И упускать такого случая нельзя было даже ценой огромного риска, потому что это впервые было что-то вполне материальное, пусть и опасное, смертоносное, но осязаемое, видимое, переложенное в зримые координаты, и потому не менее дорогое, как зубная щетка или потерянный в детстве перочинный нож.

Он пополз под деревья, стараясь не очень высовываться и сбивать снег с веток, перелез через поваленные стволы в том месте, где лед озера переходил в склон, и неожиданно попал на глубокую тропу. Он даже подумал: «Черт возьми, неужели «они» тоже умеют бегать?» Никогда еще с ним такого не бывало, и никогда Он не находил чьих-либо следов, по крайней мере, последние пять-восемь лет.

Тропа была вполне реальной, утоптанной, даже с отдельными цепочками овальных следов, словно кому-то специально хотелось побегать в валенках, покувыркаться в свежем снегу.

Вправо она убегала под деревья к темнеющему ручью, а слева огибала ивы и красногидный боярышник по просеке, вдоль озера, и терялась в сугробах. Они с Африканцем не

направились туда, а выбрали одну из цепочек и побежали в лес. Следы были какие-то пьяные, шатающиеся. Иногда некоторые вообще оказывались в метрах трех один от другого, словно существо, напрягшись, прыгало, а потом оглядывалось и думало, какое оно ловкое и сильное, если может совершить такое. И было в этой странности какая-то закономерность, и Он чувствовал это. Но чтобы остановиться и подумать, времени не было. Он только замечал над следами странным образом скрученные ветки, словно кто-то ломал их вдоль оси так, что отлетала кора, и теперь ветки держались лишь на одних белых волокнах. Он отложил этот вопрос на потом, хотя знал, что поступает неправильно, неверно, что нужно остановиться и подумать, разобраться сейчас, сию минуту, а не откладывать, не надеяться на авось. Но все равно, замечая следы странных маневров, ощущал в спине неприятный холодок, потому что опасность таилась и здесь, потому что Он давно знал – все, что выходит за рамки обычного – подозрительно, ложно, как выползок змеи, двусмысленно, как непогребенный череп, фантазмагорично от природы и имеет вкус смерти. Это был его инстинкт, интуиция, безотчетный страх, стиль жизни все эти годы. Наверное, пока не поздно, надо уносить ноги, думал Он, и бежать, бежать, бежать без оглядки ото всех этих городов с их сентиментальностью и ностальгией, от ложного, глупого, надежд, обещаний, пустозвона – от самого себя, от того, что настигало неотвратимо, преднамеренно, как дурман, как сон, как липкий ночной кошмар.

И конечно, Он никуда не свернул, не побежал, и Африканец, выдрессированный всеми предыдущими злоключениями, послушно трусил в ногах и даже не совался вперед, а только иногда поглядывал своими темными, выразительными глазами через плечо, как бы говоря: «Я все прекрасно понимаю, и я совершенно не буду мешать, а, быть может, даже и пригожусь в самый нужный момент, так что ты, хозяин и друг, будь спокоен и сосредоточен, я не подведу, ибо я во всем полагаюсь на тебя, а ты – на меня».

Но до просеки они все же добрались, и даже бесшумно и внимательно, так что ни одного комка снега не упало на плечи, высунулись и осмотрелись.

Пустая была просека. Зимняя, промерзшая. И все та же тропинка пробегала по берегу, и некоторые деревья стояли оголенные, а в воздухе плавал такой тонкий и знакомый запах, что Он даже сразу не мог припомнить, что так может пахнуть только табак, хороший ароматизированный табак, который последние годы того времени, которое осталось в памяти, как яркие, шумные картинки, завозился из-за границы и стоил баснословно дорого, так дорого, что сам Он никогда его не пробовал, да и не стремился попробовать, потому что не был заядлым курильщиком, вернее, – никаким курильщиком, и не считал себя знатоком по этой части.

Но тот человек с ружьем курил.

Он стоял, прислонившись боком к стволу, вобрав плечи в меховой воротник армейского бушлата, и чувствовалось, что мерзнет или уже порядком замерз, может быть, от долгого ожидания на морозе, а, может быть, оттого, что нервничал, и чтобы унять дрожь, должен быть закурить и подумать об этой проклятой жизни – какая она дрянная и чем кончается, и вообще, чем все это кончится – наверняка ничем хорошим, так что, черт побери, может быть, взять разуться, вложить в рот липнувший ствол и пальцем ноги нажать на курок, чтобы тебе разнесло череп и ты на мгновение увидел бы то, чего не видят другие, а в следующее – обратился в ничто или вообще неизвестно во что – как там относятся к самоубийцам? Нет-ет-ет-т-т-т... лучше я покурю, помечтаю, возьму ружье и добыю того молодчика, который сунулся, и пусть вначале он разведает страшный путь, мы придем на готовенькое. А пока постоим здесь, где уютно и привычно, и куда, если кто и сунется, то только до камышей, а дальше – все! Закон! Граница! Табу! А этот сунулся. Непонятно, почему он материализовался, по каким экспонентам выкристаллизовался. Что-то явно новенькое, а я его прищучил, и правильно сделал. Граница. Закон. Бе-е-е... Ба-ар-а-ашки... Ни-че-го-о-о... вы-ы-ы... не понима-а-а-е-те-е-е...

Он стоял и следил за странным человеком, который прыгает по лесу, курит дорогой табак, и вдруг понял, что читает его мысли, как книгу, слегка засаленную и обтрепанную, но все же

книгу и ничто иное. И убивать уже совсем не хотелось, и бешенство минуту назад владевшее им, прошло и остался лишь интерес человека к человеку, тоже слегка засаленный, но привычный, безвредный, как прошлая жизнь, и Он слегка свистнул.

Человек тотчас сгорбился и, не меняя положения тела, не оглядываясь и не различая ничего, внезапно упал на четвереньки и бросился как-то боком, но почему-то не в лес, где за ним совсем не угнаться, а – вниз, по склону, на голое озеро. И бежал он в панике как-то странно, – все время загибая влево, и от этого, выписывая плавную дугу, был похож на вываживаемого окуня, и скорость у него была не меньше, чем у стайера на финише, так что белая пыль за ним поднимался легким воздушным облачком.

Он дождался, пока бегун не пересечет злополучный камыш и не выскочит на открытое место. А потом просто скатился по прямой и настиг его на середине озера.

– Стой! – крикнул Он. – Стой!

И Африканец, рыча, подскочил и ухватил за развевающуюся полу. В этот момент Он ожидал всего, чего угодно: вспышки, оборотня, грохота или беззвучного пропадания. Но человек остановился и задрал руки. И глаза у него стали белыми-белыми, безумными, как у мороженого леща, и ничего, кроме страха, не выражали. И сгорбился он еще больше, втиснул голову в плечи, и даже казалось, что готов упасть и бежать на четвереньках.

– Бе-е-е... – продолжал он сипеть, задыхаясь и опустив в снег ружье.

Африканец все еще свечой висел на нем, и щека человека болезненно дергалась.

Это был старик. С голубой сыпью поперек морщинистого лица, словно его хватанули чем-то впопыхах, не разобравшись, и он таким и остался – меченным, с заросшими скулами, в ношенной переносимой шапке-ушанке, съехавшей на брови, и в очках желтой потрескавшейся пластмассы.

– Подними, подними выше, – скомандовал Он, – и положи на затылок! – Но оружия не достал, потому что Африканец был явно в ударе – шерсть на загривке у него так и ходила волнами при каждом движении, уши от злости были прижаты к шее, а из-под напряженных губ поблескивали оскаленные зубы; да и старик казался безобидным, вялым, словно осенняя муха, и даже чуть-чуть тронутый, потому что глаза за стеклами очков у него были мутные, пустые, безумные; и Он решил – вряд ли от него чего-нибудь добьешься, и – ничего он не знает: ни о ночных грохотах, ни о мареве, ни о звездных кометах – или как там их еще называть, и что – старик из-за всего этого тоже, видать, хлебнул свое. Впрочем, называй не называй, а суть одна – пришлые «они», посторонние и играют в непонятные игры, от которых – ни холодно, ни жарко, или, напротив, – берет оторопь, так что тебе становится не по себе, какой бы ты ни был бесстрашный, даже если ты самый последний из самых-самых бесстрашных, даже если ты предполагаешь, что ты избранный или отобранный для какого-то странного эксперимента.

Потом Он обратил внимание на ружье. Такого оружия Он в жизни не видел, разве что в музее, где оно выставлялось за пуленепробиваемыми витринами и сверкало изысканной отделкой под холодными люминесцентными лампами. Но это ружье, точно, – больше подходило для выставочных целей, но никак не для охоты на людей.

Еще один псих, подумал Он.

– Сдаюсь, сдаюсь, – просипел старик, и вышло у него: «Саюсь, саюсь».

– Ну-ну! – произнес Он и сунул руку в карман, в котором, кроме горсти боярышника, ничего не было. Но сама ситуация его несколько забавляла, и Он стоял и смотрел, как пола бушлата превращается в лоскутья, и уже знал, чем все это кончится.

Старик подчинился – задрал сколько мог руки, и шапка вовсе съехала набок.

Африканец сел и, не отрываясь, стал следить за стариком. Кажется, он даже вздохнул облегченно и только так, как он один умел делать, – запрокинул голову на длинной шее и чуть-чуть покосился на хозяина, мол, все о'кей, я его напугал до смерти, а старик – перестал тянуть это бесконечно раздражающее: «Бе-е-е...»



– Ну что скажешь? – спросил Он.

Что-то в старике было странное – забитость или пугливость – не поймешь, а может быть – одичалость. Но жалости Он не испытывал.

– Гм-м-м... – Прочистил горло старик и боязливо покосился на пса, – стало быть, ты того?... – произнес он.

Подобострастия в нем было сверх меры и голос соответствующий.

– Чего, того? – переспросил Он, подаваясь вперед, чтобы лучше слышать.

Впервые Он разговаривал не с самим собой и не с Африканцем.

– Фу-у-у... господь. – И лицо у старика разгладилось, – ну и вывез... прямо, как по заказу... прямо, как в сказке. – Он попробовал было перекреститься, и Африканец беззвучно показал клыки.

– Точно, вывез, – терпеливо согласился Он.

– Грех на душу... – продолжил старик, – пронесло-о-о...

Вокруг лежала белая пустыня, только многоэтажки смотрели немymi глазами, да еще падал редкий снежок. И если разобраться во всей этой ситуации, то надо был достать бутылку шампанского хлопнуть пробкой в небо и выпить за нескончаемость человеческого рода – даже сейчас, даже через столько лет, хлопнуть и произнести здравицу и пьяно, троекратно, до горячих слез, расцеловаться под грохот оркестра, – потому что событие-то явно знаменательное – последние из самых последних могикиан на континенте или на всем земном шаре!

– Утю-утю... – Старик протянул руку, и Африканец от наглости приподнялся на задних лапах, чтобы прыгнуть.

Пошлейший старик, который даже не чувствовал ситуации. Не от мира сего. Фигляр. Комедиант старой закваски, который ни себе, ни людям житья не дает.

– Ты чего ваньку ломаешь? – спросил Он тогда.

За эти годы Он привык ничему не удивляться. И двадцать и тридцать лет назад встречались такие старики, выжившие из ума одиночки или целые поселки, позволяющие себе паясничать перед любым пришедшем. Но постепенно они все вымерли, а этот, видать, задержался.

– Стало быть, ты человек? – с опаской и одновременно чуть фамильярно спросил старик и даже снова попустил руки; и Африканец заворчал.

А вот этому вопросу удивился. Всего ожидал – глупости, бляения, но никак не такого вопроса.

Ишь ты, подумал Он, наученный, значит, столкнулся с таким, о чем мне приходится только мечтать. Неважное здесь место, плохое, гиблое; и невольно поежился, словно чувствовал, как от черных глазниц за шиворот ползет страх. Страх был привычен, как привычно было одиночество и звенящая пустота вокруг. Впрочем, для него давно уже не было пустоты, – а одно лишь пространство, наполненное непонятной, таинственной силой, ощутимым временем, в котором ты растворен, и одновременно присутствуешь здесь и там, за теми лесами или дорогами и еще бог знает где, – в воздухе, в небесах, в падающем снеге; и ты отчего-то благодарен за это ощущение, которое дает тебе чувство стабильности и уверенности – пусть даже временно, в какой-то явный промежуток, – но предохраняет, делает неуязвимым, бессмертным, почти вечным. И это чувство живет и помогает даже сейчас, когда ты сталкиваешься с непонятным человеком.

– Значит, ты все-таки наш? – Голос у старика был надтреснутый, и слова выходили неясно, словно наполовину проглатывались, словно он что-то жевал.

– Ну, что из этого? – спросил Он.

– Ты не гляди, что я такой, – пояснил старик, и Он понял, что у старика с зубами дело дрянное – вкривь и вкось они торчали, как гнилые пеньки, – посидишь с мое в яме, не то запоешь.

– В какой яме? – автоматически спросил Он. Хотя какая еще могла быть яма в черте города – самая обыкновенная, для бродяг, где всегда была еда и бочка с топливом – другого и не

встречалось. Хотя, кто его знает, может, старик тоже был непонятной силой, играющей тобой, как щепкой в полынье, по неявному, закрученному алгоритму. Может, у него своя задача, отличная от всех других, построенная не по принципу, – чем дальше в лес, тем больше дров, а сложнее и пакостнее. Кто знает. Поди разберись. Может, он только имитировал активность и ждал реакции.

– Ты зачем стрелял? – спросил Он и понял, что сам вопрос был во многом наивным. Спрашивать такое было все равно, что узнавать дорогу на кладбище, потому люди были склонны стрелять по поводу и без повода, а только потом разбираться, кто ты и что ты. Так что стрельба постепенно превращалась в обыденность, заурядное событие. Что-то вроде надувания лягушек через соломинку.

– Значит, я ошибся, – вздохнул старик, – отвело мою руку...

– Отвело! – подтвердил Он.

– ... и собачка, вижу, вижу, настоящая, кусается... и душа человеческая...

Африканец снова показал два клыка, и старик, косясь на него, зашептал, вытягивая гусаком шею, но по-прежнему не встречаясь взглядом:

– Я ведь... это... того... – второй раз не стрелял...

– Ох, ты! – удивился Он почти лениво. – Старый козел!

Дома по-прежнему торчали серыми коробками над лесом, и находиться здесь на открытом месте не было никакого резона.

– Верно, старый, но упрямый, – согласился старик.

Каналья, что с ним делать? подумал Он.

Можно было уходить. Такие старики встречались не чаще и не реже, чем им положено было встречаться, и один Бог знает, для чего они остались или оставлены и чего делали в этой пустыне. Дичают постепенно. Впрочем, пустыня была теперь везде. И главное было приспособиться к ней. А кто не приспособился, того давно уже нет в живых.

– Ты что здесь, свиней пасешь? – спросил Он и решил, что пойдет назад по своим следам и уж точно никуда-никуда не свернет из этого леса.

– Пасу и охочусь, – пояснил старик.

– На кого это? – спросил Он, окидывая взглядом белую равнину.

– На всех, – пояснил старик и потупился. – Руки-то я опущу?

– Опустит, – разрешил Он и отвернулся.

Такое уже случалось – десятки, сотни раз, человек попадал впросак, а ты стоишь и думаешь: «Черт тебя дерит, о чем ты, вообще, соображаешь, и умеешь ли соображать своими куриными мозгами».

– Может, у тебя документ какой имеется? – нерешительно спросил старик за спиной.

– Что-что? – посмотрел Он с изумлением. – Имеется... – и похлопал по боку.

– Понятно, – сказал старик, но не испугался, а добавил неожиданно. – Вот скажи мне, добр человек, какой предел Чандрасекара в вашей гравитационной?

– Ты что, старик, за кого-то другого меня принимаешь? – спросил Он. – Зря это делаешь. Помочь я тебе ничем не могу.

– Верно, принимаю. Вот если бы ответил, то принял бы точно, а так – чего в тебе интересного, разве что вшей жменя?

– Иди проспись, – ответил Он, рассердившись.

Все-таки что-то в старике было от чокнутого – немного позы и фиглярства. Может, ему просто надо было кому-то выговориться.

– Ты мне лучше ответь, зачем стрелял? – спросил Он.

– Страшно было, – неожиданно коротко и ясно пояснил старик, ерзая плечами под бушлатом, – мне ведь показалось, что ты «оттуда», – и потыкал в небо. – Я ихнего брата за версту чую, а тут, видать, ошибся, так что, извини, промашка...

Если бы старик бился в корчах, можно было еще поверить. Черт знает что, решил Он, встретишь какого-нибудь идиота и мучаешься с ним, и ответил:

– Когда кажется, надо креститься.

– А ведь точно, убить тебя не могло, – вдруг осенило старика, – тебя и собачку. Как я не догадался.

– Ну и что? – спросил Он, ничего не понимая.

– В следующий раз буду умнее...

Многозначительность старик казалась смешной, балаганной.

Хитрюля, подумал Он, делает хитрый вид или на самом деле что-то скрывает.

– Следующего раза может и не быть, – заметил Он не так уверенно.

– Точно, может и не быть, – легко согласился старик, словно задумываясь над чем-то.

Что-то в нем было от скомороха или сморчка.

– Не знаю, почему я с тобой вожусь, – сказал Он, намеренно не отзывая пса, – шлепнуть что ли, и дело с концом. Безопаснее будет.

– Так уж и шлепнешь! – возразил старик, все еще обыгрывая что-то внутри себя – разномастность решений, что ли?

– Верно, не шлепну, но намять бока следует. А?

– Ну уж это твое дело.

– Старый козел! – выругался Он.

– Ошибся я, ошибся! Потом уже понял.

Все-таки был он горьким пьяницей, потому что лицо у него напоминало вяленую картошку, и только глаза, сидящие глубоко и цепко, были непонятно собранными, словно отдельно от лица решали свою задачу и совершенно не вязались ни самой ситуацией, ни с разговором, и это настораживало и делало старика неясным и опасным.

– Ладно, черт с тобой, забирай свою берданку, – сказал Он, – некогда мне с тобой возиться.

Можно было уходить туда, где тебя совсем не ждут, где втрое опаснее, где можно сложить голову ни за что ни про что – за любопытство, за глупость, за неумение.

– ... я ведь знаю, куда ты наострил лыжи, – сказал старик и вытянул из-за пазухи бутылку.

– Пока, папаша, – сказал Он, надевая рукавицу.

– Зря туда метишь, – сказал старик, присасываясь к горлышку.

Щетина на тощей шее пришла в движение.

– Не хочешь? – спросил, болезненно морщась, словно проглатывая касторку.

Жидкость в бутылке была маслянистой и густой.

Он проверил, как скользят лыжи.

– Глупо погибнешь, – заметил старик, наблюдая за ним, и снова приложился к бутылке.

– Почему? – осведомился Он, принимая информацию с тайной хитростью.

И тут старик не выдержал и обиделся.

– Ничего ты не понимаешь, – сказал он веско, загоняя пробку в горлышко и поднимая ружье, – совершенно ничего. Гнилое ваше поколение. Нахватались верхов, знания ни на грош, и думаете, что все понимаете.

– А ты? – спросил Он.

За горизонтом протяжно булькнуло, и шорох ракеты пронесся над головами. Африканец прижал уши и заворчал.

– Я здесь посторонний. Мне уж немного осталось, – ответил старик, даже не делая паузы и не реагируя на шелест.

Отвечил и заткнулся, чтобы упереться взглядом в снег.

– Ну и понимай на здоровье, – ответил Он и сделал шаг в сторону.

Где-то вдали его ждала Великая Тайна.

– Темный ты, как и все, – добавил старик вслед.

И Он понял, что его специально злят.

– Не темней тебя, – сказал Он.

– А-а-а-а!!! – только и прохрипел старик досадливо.

Он сделал еще шаг.

– Падамелон я!.. Падамелон!.. – заявил старик.

– Какое мне дело, – не притормаживая, возразил Он.

Можно было придумывать все, что угодно, махать руками и плакаться, но никогда не обратиться из человеческих суждений.

– ... но мне сгодишься, – добавил старик, вытирая слезящиеся глаза и крикая от досады, – больше ждать некого...

– Кого ж ты ждешь? – Приостановился Он.

Снежная пустыня манила в путь.

– Вот те!.. – Старик многозначительно махнул на город, – выстрелов бояться, потому что из другого теста сделаны. А ты из чего? – снова спросил он.

– А это мы легко узнаем, – заверил Он старика.

– Верю, верю... – поспешил старик, – и замашки хулиганские, то есть человеческие, ну да ладно, чего не бывает... А теперь смотри, ты думаешь, я с тобой шучу, – и старик поднял ружье, расправил плечи и выстрелил по камышу. Даже не выстрелил, а черт знает, что сделал – словно провел кистью по плоскости, по бумаге, – без прицеливания, на авось, словно сплюнул через губу.

На конце ствола возник розовый шар, словно нехотя поотделился и вдруг понесся над озером, разгоняя холодное пространство, и срезал заснеженные верхушки камыша. Точнее, издали это выглядело совсем не так, как вблизи, ибо показалось, что шар просто впитывал в себя кустики вместе с шапками снега, в воздухе остался голубоватый морозный туман, а потом ветерок донес запах серы.

– Все это отвлечение, – сказал старик торжественно и воззрился на него взглядом, в котором была смесь занудства и величайшей скорби.

– Подумаешь, – возразил Он.

Мало ли что можно было увидеть в этой жизни. Шорох все еще таял в лесу. Он ничему не хотел удивляться. Это стало его правилом. Может быть, даже защитой. Он не знал.

– Но я же говорил, говорил и объяснял, – они дематериализовались еще до того, как вылетела плазма. Понял?

– Нет, – сознался Он, – не понял.

– Нет того камыша, – сказал старик. – Деревья повыше – есть, а кустов и камыша нет! Понял?

– Не понял, – сказал Он и едва не усомнился, взглянув на камыш.

– Камыш – это граница, но только для «них», и для тебя, если ты видишь. Ты ведь видишь?

– Вижу, – согласился Он.

– Ну и прекрасно. Теперь это все чаще у людей встречается. Рексалопией называется – синхронизацией по времени, если популярнее...

– Что встречается? – спросил Он.

– Виденье! – пояснил старик. – Глаз улавливает клептонику излучения. Ясно?

– А... вот в чем дело, – сказал Он. – Я думаю, чего они иногда словно дwoятся.

– Точно! – обрадовался старик. – Должны дwoиться из-за нестабильности точки поля и из-за расстояния. Дома – вон где, а мы здесь.

Он снова посмотрел на дома. И в тот миг, пока подымал взгляд, до того момента, пока уперся в многоэтажки, увидел черные разлетающиеся шарики по всему небу. И шарики эти были словно нанизаны на тонкие нити. Впрочем, Он давно это замечал и полагал, что просто галлюцинирует, – порой, когда резко поворачивал голову или переводил взгляд с предмета на предмет. И всякий раз ему что-то казалось, а Он думал, что это ненастоящее, не имеющее отношения к реальности, пусть даже к новой реальности.

– Здесь все почти ненастоящее и все гораздо сложнее, – объяснил старик. – Вертикальные и горизонтальные проекции смещены всего-то на ничего, – но вполне достаточно для проявления...

Бред собачий, думал Он.

– ... а мы шарахаем по верхам... но это неважно. Если разобраться, чего мы пока, естественно, не можем сделать по многим причинам, то все до банальности просто, но только на взгляд, исходя из слабого антропного принципа...

Придурок старый...

– ... стоит только настроиться по двум-трем составляющим... и...

Ненасытный фантазер...

– ... и можно расстраивать проекцию лет этак на...

Так я тебе и поверил, решил Он, Теоретик! Алхимик!

– ... теория струн оправдала...

Странный старик. Сумасшедший. Больной. С воспаленными глазами, запахом дорогих сигар и гнилыми зубами.

– Живи, черт с тобой! – произнес Он и пошел туда, откуда пришел, потому что и такое с ним уже было, но если не такое, то нечто подобное – со всеми теми, кто не выдержал, не выжил, кто свихнулся и нес чушь. Африканец послушно пристроился рядом, уже не скалясь и не обращая внимания на старика.

Но старик внезапно появился сбоку и, приноровившись к их ходу и, проваливаясь по колено, зашептал, возбужденно размахивая руками и бутылкой с желтой маслянистой жидкостью:

– Падамелон я! Падамелон! Ты только постой-постой. А того ты не знаешь, что повезло тебе просто!.. несказанно, повезло так, как ни разу в жизни!..

– Ты чего, – спросил Он, – спятил?

– Пойдем со мной?.. – жалобно попросил старик, и стал походить на пуганую ворону.

– Ищи себе другого ассистента, – сказал Он.

– Нашел бы, если б знал, где, – старик совсем выдохся.

– Что же, теперь я должен тебя спасать. Дела у меня, – отрезал Он.

– Пойдем, пойдем, – позвал старик, – нужен ты мне, – и даже ухватился за лыжную палку.

Он скосился на дома. Теперь они вроде бы даже наклонились вперед и висели над лесом.

– Может, ты меня сонного зарезать хочешь? – спросил Он, понимая, что давно пора спрятаться в лес.

Вдалеке напоследок еще раз булькнуло, и в небе завертелась звездочка с четырьмя хвостиками по краям.

– Пойдем, – попросил старик. – Без тебя мне никак не пройти.

– Куда? – спросил Он. – Ведь врешь все?

Дома теперь занимали полнеба.

– Ничего ты не понимаешь, – остановился старик. – Я, быть может, тебя все это время только и ждал. Ошибся малость, с кем не бывает... Только ты не уходи, не уходи. Я тебе такое покажу... и научу, как с «ними» общаться, и кое-что объясню, до чего дошел, а главное у меня энергия против них есть... чтоб им пусто, чтоб они скисли, и говорить мне много здесь нельзя, хотя, конечно, они почти замороженные... – Он вовсе перешел на скороговорку шепотом: –

Но все равно слышат и посылают против меня всякую звероподобность, хотя сами мне имечко и дали... а чтобы в полном обличье – не-е-е... я думаю из-за потери уравнивающих... но это может просто вписываться в вариацию... а потом колеблется в другую сторону... к весне, например... может, я до весны не доживу... кто знает, может, никто не доживет...

– Кому ж здесь доживать, – согласился Он, не особенно задумываясь над словами.

Их снова окружала вселенская тишина.

– Да никого здесь нет лет двадцать. Вначале еще водились нелегалы, но такие дикие, что слов нет – ни на что не годные, ничего не боящиеся, самый лучший материал для «них», потому что пьющие много. А весной и летом сами явятся. Вот увидишь, ей богу, вот те крест, – начнут из стен проявляться, или, например, – из любого камня. Раз – и вот они, пожалуйста, явились не запылились. Боже упаси!

Все плачутся, все грозятся, всем кажется, что они самые что ни на есть бедные, юродивые, думал Он, тянут на себя одеяло, возвеличивают до небес, возводят пьедесталы, пьют и едят на злате-серебре, и что-то воображают, надуваясь от важности, а ведь ошибаются... не может весь мир быть привязанным к одному колесу...

– Чего же ты здесь сидишь? – спросил Он.

– Дела прозаические, – сказал важно старик. – Наука!

Он сплюнул и выругался в глубине души.

– Какая наука? – переспросил, испытывая страшную тоску, которая только и спасала всю жизнь.

Дома совсем накрыли их.

– Изменение пространственно-временного континуума неизбежно несет в себе схлопывание в точку. Главное, чтобы она была свернута как можно туже, если говорить обыденным языком... – выложил старик одним махом. – Ну как согласен?

Ничего Он не понял, абсолютно. Но то, что взгляд у старика стал не наглым, а тоскливым, как у голодного пса, понял.

– У меня и «Наполеон» есть настоящий, – добавил старик и заглянул ему в глаза пытливым, – и еще всякая ерунда, а консервами вся кладовка забита... нужен ты мне, нужен, кому я все это передам? А?

– Чего ж ты побежал? – спросил Он еще раз.

– Так кто ж его знает...

И Он подумал, что Теоретик врет, но врет неопасно, как бы по-домашнему для успокоения совести, что ли, что ему грустно или страшно от одиночества и старости, чему, в конце концов, можно и посочувствовать.

– Ладно, – согласился Он, – пошли. Только ненадолго. – И ему сразу стало легче. И дома съезились и снова сделались натуральной величины.

\* \* \*

На воротах, перед входом, косо висела вывеска: «Профилакторий железнодорожников...» и даже некогда существовало название, начинающееся с букв «Ло...», но дальше полностью содранное и заматое вместе с железом от удара, который пришелся как раз на правое крыло здания так, что площадка под ним оказалась идеально чистая, ровная, и виднелись серые плиты фундамента. Да и то, что осталось слева, имело плачевный вид, словно по нему проехали катком, примяли крышу и выбили рамы из окон на первом и втором этажах.

Старик проследил его взгляд и произнес:

– Чистая работа и главное без всякого повода. Антрофизет называется – исключение из правила.

А Он подумал, что встречал такое не чаще и не реже других чудес и что в данном случае Теоретик прав, но, возможно, только по существу, факту, а не по сути и не по глубине. Не умеют они этого, подумал Он, и никто не умел, – вот в чем дело...

– Но место это спокойное, – сказал старик, – и почти безопасное.

– А дома? – спросил Он. Ему было интересно.

– Дома есть дома, – пояснил старик. Оптимизм его так и лез из всех дыр.

Он согласно кивнул.

– ... бог с ними. Дома, пока мы здесь, не страшны, а только интравируют, плывут – понятнее, время у них другое, и вообще – у города теперь иное время, поэтому нам там странно, неуютно и голо, но завтра сам увидишь, почувствуешь. Ты ведь умеешь чувствовать? – спросил старик.

– Умею. – Согласился Он с облегчением, оттого что наконец-то нашел еще одно объяснение странностям, происходящим с ним и псом.

А может, это только помогает, подумал Он, может, я путаюсь? Может, «они» стали более явны в свои закономерностях, а я не улавливаю и не догадываюсь, и старик прав?

– Это ведь они меня называли Падамелоном... – признался старик еще раз, – все, что осталось после человечества...

– Что осталось? – спросил Он удивленно.

– Мысли, конечно...

Прав-не прав, а теперь мне придется бороться и с ним, подумал Он, и со всем тем, что кроется и стоит за его словами, даже если старик ничего не придумал, все равно это для «них» как манна небесная, как дармовщина, да еще и на халяву.

– Вот имечко. Во сне не придумаешь. Приходят и зовут: «Падамелон... Падамелон...» Иногда стены трясут, а выйти боязно...

Они пересекли двор.

Он все время что-то пытался переспросить у Теоретика...

– ... попробуй высунись! Я уж и метлой грозил. Иных ткнешь – и дух вон... иных....

... и все время забывал.

– ... а от некоторых возгорает, от тех, кто похож на сухие пеньки...

Под ногами лопалось стекло. Лед в щелях распирает асфальт.

... что-то очень важное, как забытая строфа, как тайное имя...

Голова у него была словно напичкана ватой.

– ... но сегодня не придут, сегодня ни один прибор не дотягивает – распыление большое, как при выветривании...

– Что ж так?... – спросил Он, вконец отчаявшись.

– Кабы я знал... – посетовал старик удрученно, и выдохнул винные пары.

И Он понял, что ему снова не дают додумать какую-то важную мысль.

– Спеленало... – Догадался вслух. В который раз – привычно, обыденно, как дышать, как есть...

– По боку нас, по боку... – закивал старик.

– Не логично, – сказал Он, все еще думая о своем, – не логично!

И старик радостно полез за заветной бутылкой – ничего не понимающий, убогий, грязный, последний из умников, если верить бреду, воображивший, что что-то может, завязший по макушку (впрочем, мы все завязли), не понимающий, что, быть может, с ним ведут игры, тешат самолюбие, чтобы он только оставался человеком, а не скатывался до животного состояния. Цель оправдывает средства, – а вдруг что-то выйдет? А не выйдет – и так уж наворочено – дальше некуда, надергано и посажено в спешке и бестолковости.

– Есть же где-то кончик? – спросил Он, больше обращаясь к себе, чем к Теоретику, и оставляя попытку покопаться дольше, – за который надо ухватиться. Есть!?

Было привычно одиноко, – туповатое состояние, от которого тебе нельзя откреститься; было-стало, кто разберет, залогом теперь уже чужих мыслей, чужого будущего и вообще уже не твоей жизни, а «некого», кто «хозяин», словно это для него любимая игра, – чтобы только поразвлечься, а не для умного, стоящего собеседника, которой будет являться раз за разом, чтобы только докопаться до истины и в конечном итоге оставить дураком. Ведь этого же никому не хочется.

– Должно быть, – радостно крикнул Теоретик-Падамелон после глотка. – Я тебе об этом давно твержу.

– Вот мы за него и потянем, – произнес Он мысли вслух, не очень веря самому себе. Почему-то ему так хотелось – верить, думать, что на это раз Он решит бессрочную задачу.

– И правильно, – поддакнул старик, – прямо завтра... – и тряхнул жидкостью в бутылке. Еще один правдолюб, решил Он.

\* \* \*

Вход открылся совсем неожиданно – под заросшим холмом, и больше походил на спуск в заброшенное бомбоубежище. Снизу ударило сырым, теплым воздухом, кислым запахом жилья, и Он понял, что работает вентилятор.

– Не бойся... не бойся... – сказал старик.

– Я и не боюсь, – сказал Он и похлопал Африканца по спине.

Пес сбоку заглядывал ему в глаза, словно спрашивая, что думать о дальнейшем, о старике, который называет себя странным именем – Падамелон, о подвале, о предстоящем обеде...

– Ладно-ладно тебе... – сказал Он, успокаивая пса, – ты ж знаешь, если бы не ты...

– Осторожно, камень выпал, – произнес старик, и они вступили в широкий освещенный коридор с темнеющими нишами, словно здесь хранили винные бочки. Но вином здесь и не пахло, потому что, когда «это» все случилось или случалось вначале редко, а потом – все чаще и чаще, в этой стране даже хорошего вина не делали.

Он сразу забыл о друге, потому что пахло человеческим жильем и едой, и Он решил, что если будет возможность, надо будет обязательно выпасться.

Старик потянул на себя, как на корабле, тяжелую бронированную дверь с резиновыми прокладками-присосками, и в глаза ударил свет.

Сразу за комингсом начиналась широкая белая комната с высоким неровным потолком, под которым горели яркие лампы, и огромным мраморным камином в углу с двумя фигурами атлантов, поддерживающих лепнину зеркала. Под лампами, в центре, стоял огромный никелированный стол на колесиках, и среди торчащих колб, реторт, трубочек, опутанный сетью провисших проводов, в вате и тампонах лежал... покойник.

Вернее, он очень походил на покойника. Со свежевскрытой грудной клеткой, с отделенной головой и двумя обрубками вместо рук.

Чего-то не хватает, механически отметил Он как будто со стороны.

Старик подошел и, что-то подхватив из-под блестящих ножек, сунул в таз и накрыл клеенкой, а потом ловко стал выдергивать провода, и они гибко покачивались, а на пол капал розоватый физиологический раствор.

Не хватает запаха крови, понял Он, да, точно – запаха, сырого и тошнотворного.

Пес посмотрел на него снизу вверх сквозь густые брови и ресницы взглядом врача.

– Пардон, пардон, – говорил старик, криво улыбаясь, не глядя на гостя, – а то еще норовит ущипнуть... – И щека у него снова начала дергаться, и заветная бутылка уже не совершала короткое путешествие из-за пазухи к заросшему рту.

– Ух! – сказал Он завороченно, забывая оглядеться.



– Правильно, – обрадованно просипел старик. – Не хлебом единым...

Все-таки он побаивался. Косил, как заяц, и даже шапку остерегался снять, а суетливо толкался возле стола, бренча и разделяваясь с трубочками и склянками, – спешил совести ради, что ли? А потом вдруг спихнул покойника на пол.

– Болтун... – спешно пояснил старик.

В следующее мгновение Он понял, что это не человек, вернее не то, что от него осталось, – а просто сам по себе не человек, потому что звук, с которым он упал, напоминал скорее звук сырой глины, вываленной из ведра, и Он даже потянулся увидеть, что же произошло по другую сторону стола.

Но старик загораживал и твердил, как заведенный:

– Не хлебом единым, а токмо ради науки... ради великих це...

Тогда Он молча сделал шаг в сторону, отодвинул Падамелона, заглянул и увидел что-то вроде широкого блюда с толстыми, бугристыми стенками в изоляции, какие-то кабели питания, реостаты, переключатели на небрежно сделанном щите управления. И на всем этом сооружении останки человека таяли, как снег на сковородке.

– Ух-х-х! – выдохнул Он еще раз и тряхнул старика.

– Чтоб не хвастался... – пояснил Падамелон безвольно, извиваясь и мотая головой, как тряпичная кукла. – Чтоб... с такими намерениями... такие пироги... такие котята... – нос его, как загогулина, торчала кверху, а голубая сыпь на коже налилась багровым глянцем.

И снова, как и в лесу, опасность висела в воздухе, расплывалась, впитывалась в мозг, подстерегала незадачливое сознание, как эквилибриста над пропастью. И даже Африканец ничего не чувствовал.

– Я ж говорил, – радовался старик, тоже пытаясь заглянуть на блюдо. – Ничего, даже запаха...

Однажды уже было – далекое и прошлое, как воспоминания детства. Он словно на миг потерял ощущение реальности, растворился там за стенами и вдруг, почувствовав свои границы, понял, что какие-то темные фигуры от земли до неба стерегут выход.

– Что это?... – спросил Он, подавляя спазм в желудке и не замечая, как у старика подкашиваются ноги.

Кожа на трупе уже бугрилась, словно политая кислотой.

– Не съедобно... – пояснил старик, встряхивая «блюдо».

«Скрип-п!.. Скрип-п!..» – донеслось сверху.

– Ждете? – спросил Он, отстраняясь от происходящего и чувствуя, как те снаружи неуклюже, как великаны, переминаются с ноги на ногу и перекладывают из руки в руку дубины.

Ключица, перед тем как пропасть, всплыла голубоватым мазком. Кожа лопнула на тазовых костях и стала облезать.

Его чуть не вырвало.

– Не при-с-та-ло-о... – Старик вовсе доходил в его руке.

Снаружи, из темноты, как вещь, донеслось: «Знаем... знаем...»

– Не пристало... – внятно выговаривал старик.

«Ох, Падамелон, ох, Падамелон!» – кряхтели, как малые дети.

– Не пристало... – Старик корчился. – Не пристало подозревать в нечистоте...

«Не верим... – шелестело в голове. – Не верим!..»

– ... опыта... школы... верификация...

Он его отпустил. Веки слипались, как свинцовые.

«Сил нет... Сил нет... – стонали снаружи. – Спать! Спать!..»

Их боль стала общей болью, их страсть стала общей страстью, но только переложенная на задний план сознания, впитанная с молоком матери поколениями рабов рассудка и логики; лишь мысль... – опора и надежда, мысль – тайный плод, бессмертие и оружие земных голо-

дранцев от истоков и в силу коленопреклонения, мысль – презренная обиходчивость, тупость, животное счастье едоков картофеля (носители разума?!), половозрелость, мыльный пузырь, мысли... мысль... Ван Гога... Гогена... и других ценителей красок, пролившегося дождя и золотой пшеницы, – кто «копался» извечно, от судьбы, от призвания, – ее не было, ничего не было – только холодный, темный лес с падающим снегом и мрачные тени от фонаря – пустыня.

Он ошибся. Померещилось. Мозг просил пощады, отдыха, как мягкой подушки или теплой руки.

До чего я устал, вяло и обреченно думал Он, наблюдая, как Теоретик лезет за пазуху и блекло-пятнистые губы испуганно трясутся: «Только ради... только ради науки... вере... вере...», а Африканец озабоченно вертит заросшей головой. Что-то новенькое, но все равно знакомое, неотличимое от того, что было или будет. Пангины, петралоны? Что еще можно придумать? Квазимода? Он словно вспоминал то, чего еще не случилось. Холодная, вечная стена перед всеми теми, кто пробовал ее штурмовать.

Сил не было анализировать. Он едва не упал.

Кости уже высохали и рассыпались в порошок. Разбавленная кровь запекалась и превращалась в черную пыль.

«Не уйдем, – шептали сверху. – Влезем... влезем в каждую щелочку...»

– Сейчас начнется... – высказал предположение старик, полный тайного злорадства. Он не договаривал.

«Навалимся... все сразу!..»

– Ерунда... – Храбрился старик, изучая его лицо, словно из чистого любопытства, словно из глубокой бочки, – даже в обиду себе. – ... Мизинцем... – хвалился от страха.

Он снова был одинок, как перст. Снова надо было идти без цели, сделаться тем единственно ущербным, забитым, на котором возят воду – вечность, без шанса на избавление, на собственное «я», презираемый самим собой же. Почему? Потому что превратиться в марионетку проще простого. От черепаца, запахнутого на груди платья, от вечных надежд и тупости, от черно-коричневых тонов, коровьих глаз, безутешности, безнадежности, – как привыкнуть к марихуане, «баяну» или снотворному, как дважды два – расслабиться, поддаться на искушение, быть овцой пропащей паствы. Все начнется сначала.

– ... славненькое дельце! – обрадовано сипел старик.

«Славненькое! – отзывались они хором: – Скрип... скрип!..»

– Да провалитесь вы все! – в сердцах крикнул Он, с трудом разлепил веки.

Светили лампы, бугрилась чужая плоть. Старик молча наливался из бутылки. Африканец спал, свернувшись в кольцо.

Он добрел, плюхнулся в кресло и откинулся на спинку. Старик обрадовано потянулся наполнять стаканы.

В голове вертелось непонятное: «пангины...», «петралоны...»

– За тобой шло, – сказал старик, – везучий ты...

Он выпил с жадностью и отвращением.

Нельзя, нельзя... думал Он, скулить. Впутываться в чужие страсти, во все то, что не дает свободы. Слишком их много, и слишком они разные – все эти блудные сыновья человечества – мысли, как говорит Падамелон.

Из стены поперло – без паузы, без предупреждения: с налитых мышц полетела известка и гримаса выражала крайнюю степень напряжения человека, завязшего в болоте.

Старик спохватился, опрокинув стакан, подбежал и ударил раз и потом еще и еще: прямо в лицо, в глаза...

Но то, что лезло, хрипя, не обращало внимания, и торс с каждым усилием выдирался из стены, а по лицу текла кровь.

– Да чтоб ты!.. – Старик отпрянул. Глазами поискал ружье.

Великан уже опустил одно колено на пол. Он напоминал борца перед прыжком. Левая лодыжка держала его в стене.

Старик подскочил и выстрелил с бедра. В упор. А потом ткнул прикладом. Человек упал на бок.

Лицо исказило выражение ужаса, и человек в испуге протягивал руки и шевелил губами. Правый бок был вырван, и плоть или то, из чего он был сделан, со свистом втягивалась в шар.

Старик брезгливо наклонился, словно прислушиваясь:

– Чушь-чушь-чушь... – брезгливо произнес он, отошел и приложился.

Тот, второй, оставался безучастным.

– Что, что он сказал? – жадно спросил Он, подаваясь вперед.

– А что он еще может сказать? – удивился старик.

То, что лежало под стеной беззвучно истекало слезами.

– Ну что, что? – Он приподнялся.

– Да ничего особенного, – отозвался старик, – «Все человечество уместается в горсти песка!» Как обычно – шарада.

– Да! – расслабленно отозвался Он. – Как это правильно!

И подумал, что согласен полностью и безоговорочно, что это и есть то, к чему Он стремился – мудрость и знания.

Старик вдруг заглянул в глаза:

– Э... брат, да ты, кажется, ничего не сообразил? Разжалобить он хотел, всего-навсего. А потом... Теперь они точно отстанут... – Старик казался довольным, как насосавшийся паук, и погрозил второму, оставшемуся. – Вот такие пироги с котятами, – добавил он, и прикончил наконец свою бутылку. – Они нам еще в ножки поклонятся...

Как же, подумал Он, держи карман шире. Не ты первый, не ты последний съешь голову в ловушку, и я вместе с тобой.

Место справа от зеркала уже было гладким и чистым, как хорошо залеченный шрам, а от великана под стеной осталась груда тряпья.

\* \* \*

Из углов выплывали разноцветные шары, строили рожицы, кривлялись, лопались, пропадали или расплывались лиловыми пятнами на стенах.

Пахло маслом, железом и крысами.

– Машка... Машка... – подзывал одну Падамелон, держа в ладони кусочки мяса.

Но крыса была старой, опытной и не шла, а, только попискивая, выглядывала из-под труб, и тогда Африканец открывал глаза и следил за ней.

– Самая всамделишная, не поддельная, – объяснял ему Падамелон.

Крыса тоже пугалась шаров. Впрочем, в равной степени ее пугало любое движение, и она не делала различия между реальным и выдуманным.

В коридоре, за дверью, тоже кто-то был – большой, грузный, но не опасный, перебиваемый лишь запахом кладовой, из которой несло ветчиной, сыром, кислым хлебом. Но то за дверью было почти живое и постанывало, как большое, сильное тело, и даже пробовало шевелиться, и тогда пол мелко дрожал – «Мандарин», одним словом. Тогда шары влетали чаще и уже не строили рожицы, а беспокойно тыкались в стены, как слепые щенки, и стекали, как воск со свечей.

Африканец сунул морду в хвост и уснул.

## 2.

Они вышли в темноте. Город лежал за лесом, как притаившийся зверь.

– Только для осушения... – Падамелон сжимал неизменную бутылку. – Только ради сохранения жизни... Пей!..

Он протащились мимо железного хлама в коридоре, мимо пустых бочек и контейнеров с едой.

Вслед из-за глухой двери что-то вздохнуло.

– Покончим! – гремел Падамелон. – Одним махом. Тебе, дорогой, – Падамелон похлопал по стене. – Тебе! С-с-с! Тайна! Никто! Ни сном, ни духом...

Глаза у Падамелона были до странности трезвы, словно они вдвоем за час до этого не прикончили по бутылке горючей жидкости и не вели, поглядывая в угол под стену, пустые разговоры.

Болела голова, болело тело, свинцовый язык с трудом ворочался во рту.

Падамелон твердил:

– Да ненастоящие они. Ненастоящие. Даже не гниют. Запаха ведь нет... – И радостно запикивал в таз выползающую руку.

– Тогда откуда? – упрямо спрашивал Он и уже знал, что Падамелон-Теоретик нормальным языком ничего объяснить не может, не умеет. Но выдумывал такие словечки, которые тут же забывались, рисовал схемы и диаграммы, и вообще оказалось, что он, Падамелон, малость помешанный, ну и что, и что знает кучу того, о чем приходилось читать лишь в популярной литературе, когда ты, например, едешь в поезде и скуки ради выбираешь самую толстую и самую нудную книгу, чтобы только не глядеть от тоски в окно, заваливаешься на вторую полку и через пару страниц засыпаешь.

– Ну ты даешь! – твердил Он упрямо. – Смотри, даже псу противно.

Но Падамелон, не обращал на его слова внимания:

– Тихо, тихо ползти, улитка, по склону Фудзи, вверх, до самых высот! – Что это? – спрашивал он.

– Книга...

– Вредная! – делал заключение Старик. – Это те, которые вот там живут и иногда сюда забредают... Я начинал еще с Джеймсом Чэдвиком, – произносил он важно, – и был знаком с великим Резерфордом по Кембриджу. Я был специалистом по кваркам. Их существует целых шесть ароматов, и все разного цвета, ну да, впрочем, это неважно, потому что все интересное уже открыто в течение одной жизни, а потом наступает такое состояние, которое называется компрессией, – сколько не жмешь, давление возрастает, а результатов нет.

– По каким кваркам? – спрашивал Он.

Булькала жидкость. Рука из-под клеенки подавала какие-то знаки.

– Автор знаменитой формулы 414, – вдруг объяснял Падамелон. – Ось Вульфа!

Все неудачники находят оправдания собственным слабостям...

– Иди ты... – отвечал Он, – это ж было черти когда...

– А... вот именно, – важно соглашался Падамелон. – Но вот дожил и горжусь...

– Чем же? – спрашивал Он.

– Вот этим. – И стучал костяшками пальцев по лбу. – Кончилась наша песенка. Скрутится планетка, – и показывал кому-то кукиш, – вот так...

– Кто тебе сказал? – удивлялся Он.

– И так ясно, – отвечал Падамелон. – Чего рассуждать, перегруппируется и скрутится. Для нас времени совсем мало осталось.

– Куда ему деваться! – не верил Он.

Теперь они стояли снаружи, и морозистый воздух сгонял хмель.

Перила перед входом оказались смятыми, словно кто-то, не дождавшись, с досады ухнул ломяком, и железо закрутилось латинской буквой U.

Мне же идти надо, пьяно подумал Он, какого черта...

Вглубь просеки убегала свежевытопанная тропинка, по которой ходят след в след, но все равно было ясно, – пробежала целая толпа, и оттуда в освещенный круг вопреки логике, привычной реальности, вдруг всплыл черный вопросительный знак и бесшумно растаял в воздухе – словно стек по невидимой поверхности.

– Не смотри... не смотри... – посоветовал Падамелон, перекрестился и запел козлиным голосом: «Отныне и присно-о... и вовеки веков-в...», подмигнул совершенно ясным глазом, и они побежали.

Африканец бодро подпрыгивал сбоку. Падамелон по-козлиному пел псалмы и вскидывал ноги, как засидевшийся заяц. Поверх шарахалась луна и голые кроны деревьев. В глубине, за сугробами, дергались призрачные тени. Ветки акаций цеплялись за одежду. Колко и больно хватался мороз, и они с Африканцем едва успевал за юрким Падамелоном. Потом внезапно все втроем вывалились на опушку и остановились. Светало. Дальше, за кромкой леса, начинался город. Порывы ветра доносили запахи стылого камня и давнишней гари.

Не любил Он эти города, хотя, говорят, кто-то и приспособился к жизни в них – вырастил в себе страх, поклонился и верил ему – с лицами напереворот, с языками до плеч, с головами набекрень. Глупые, сытые, животные по сути, по природе.

Где-то за горизонтом вспучилось розовое море и загрохотало.

Падамелон, кряхтя, сделал глоток и сунул в руки, что означало одно – «Пей!»: «Теперь нас никто не охраняет». Где-то в складках разодранного бушлата булькал предусмотрительный запас.

– Ни к чему не прикасайся, ни к плохому, ни к хорошему, ни в душе, ни в мыслях, а главное – не думай! – твердил он, а то куда-нибудь врубись, и тогда все – хана! Напейся и забудь! И никаких книжек, выкинь из головы! Только смотри и запоминай! Собачки – самые безвредные...

Африканец глядел с признательностью и обожанием.

Падамелон просто раздувался от важности:

– Как только притащим «Апельсин» для нашего «Мандарин...» с-с-с... – Прикладывал палец ко рту. – Так, считай, они у нас в кармане...

В голове смутно крутилась мысль: «А что если...» Он отгонял ее и слушал разглагольствования Падамелона.

– «Мандарин» работает, как воронка, стоит раз запустить... Все они тут же... Даже... без разговоров... А «Апельсин» нужен как стартер... – И тут начинал нести такую чушь, такую околесицу, что слушать не хотелось.

Кто-то словно нашептывал:

«Не верь... не верь... Ложь... ложь...»

В шерсти, с копытами, умеющими проходить сквозь и во вне... Неуловимое, невещественное, но живое, близкое, рассыпанное, разлитое во всем и во вся, родное, милое, забытое... безобидное, как котенок, и настырное, как... как... бывшие привычки...

Марево вдалеке уже гасло. Снова скатывалось в чернильную пустоту. Вот где разгадка, мелькнуло у него. Стоит ли? подумал Он. И ему захотелось плюнуть на все, развернуться и уйти.

Но Он сделал шаг и ступил на дорогу.

Шоссе оказалось расчищенным, словно ночью раза два по нему прошелся грейдер, сгребая на обочины сухие горы снега и оставляя за собой гладкую, укатанную дорогу, на которой ноги скользили, как по льду. Из-за леса выступили крыши зданий. Разве можно было знать,

что таится? Некому создавать ни преданий, ни сказок. Облако, первозданная пустота? Быть может, город сам нуждался в чей-то помощи или защите? Он как умел общался и думал, быть может, о том, что влекло людей.

По таким дорогам обязательно должны ездить машины, думал Он, вышагивая по краю, где было не так скользко. Ездить туда-сюда, только чтобы не стоять на месте, не гнить на морозе или под солнцем. Где-то там, в глубине, где хранят остатки былых навыков, действуют по заученному тайные эскадры тайных надежд – мысли и литературные герои.

Утром привозят смену, разогревают мотор, тихо матерясь: «Мать вашу!..», отворяют тяжелые ржавые ворота, дают на акселератор и отправляются в путь. Тени прошлого:

«... – говорил Вольдемар. – У них там и фотоэлементы и разная акустика, и кибернетика, охранников-дармоедов понаставили на каждом углу – и все-таки обязательно каждый год у них какая-нибудь машинка да сбежит. И тогда тебе говорят: бросай все, иди ее ищи. А кому охота ее искать? Кому охота с ней связываться, я спрашиваю? Ведь если ты ее хоть краем глаза увидел – все. Или тебя в инженеры упекут, или загонят куда-нибудь в лес, на дальнюю базу, грибы спиртовать, чтобы, упаси боже, не разгласил.... глаза завяжет... кто как... У одного документы потребуют...»

Падамелон периодически бормотал:

– Как придем... как доберемся...

Африканец подбегал к обочине и оставлял желтые метки на рваных комьях.

... нестись, выпучив глаза, или, наоборот, смежив веки, или нацепив темные очки, уверенно объезжая ямы на разбитой колее... Воображая, что цель только впереди. Сцепив зубы, дают гашетку на перекрестках, и, загнав в тупик, тайком попивают пиво, которое потом заедают таблетками, чтобы только не пахло, чтобы только не наткнуться на дырку в правах. Все, все: убогие, наивные, пьяницы и трезвенники, мечтающие о пустой бабенке на обочине, о сладострастии, о грехе без похмелья. Не ведающие, что за все надо платить, хочешь или не хочешь – преждевременной старостью и трясущимися коленками; и от этого мучающиеся катарами, несварением желудков, язвами, пустопорожними мечтами и вредными привычками. Все, все осталось – никуда не делось, как крошеные ледышки в холодной проруби, как...

Кто-то отвечал, словно цитировал книжки любимых Стругацких:

«Не нужно, чтобы они были принципиальными сторонниками правды-матки, лишь бы не врали и не говорили гадостей ни в глаза, ни за глаза. И чтобы они не требовали от человека полного соответствия каким-нибудь идеалам, а принимали и понимали бы его таким, какой он есть... Боже мой, неужели я хочу так много?»

Крыши постепенно заполняли все пространство над головой, загорали небо.

... привыкшие... не выбирающие... а скользкие: плотские радости, набитые животы; лица, напоминающие печеную картошку, тусклый взгляд, усатые женщины с плющевыми задами, нагибающиеся над жужжащими, шаркающими ксероксами, или наклоняющиеся к голубоватым экранам, – что они видят, кроме того, что видят?..

Ему так понравилась мысль, что Он долго и со вкусом обкатывал ее, ища заключительный аккорд, и как всегда ничего не находил, а только обреченно останавливался и бормотал, тупо глядя в темноту: «Думать! думать! Дожить до старости и ничего не понять – дорожка ни вкривь, ни вкось, стена, за которой никто не ждет и не может ждать, потому что, потому что... глупо и бестолково, как могильная похлебка. Проказа усталости, поражающая в самом начале, остановка на полпути, плен чувств и знаний...»

Он не сумел толком ничего додумать, как в следующую минуту из-за поворота, словно вынырнули слепящие фары в радужных разбегающихся кругах, а за ними еще – нечто огромное и черное, смахивающее на паука с растопыренными колкими лапами. И они втроем ничего не успели понять, только Африканец, рыкнув, сунулся вперед. Их накрыло, словно обла-

ком, понесло с бережливостью младенца, покачивая, наперекор устремлениям, планам, словно отживших свое, но так и не успевших понять прожитого – смысла поиска...

\* \* \*

... стояли перед зданием то ли института, от ли опытного производства, и Падамелон, как заводной твердил:

– Пей! пей! – И тыкал в лицо горлышком бутылки.

Тоска и одиночество, пленительный обман, ожидание чуда – Он поддался, вплетаясь в невидимую ткань по доброй воле, от закономерной покорности сотен поколений. Быть абсолютно свободным? Предпочесть новую клетку? Не обольщаться вопросами – пока... пока нравится. Изжить предрассудки в самом себе, отряхнуть прах, выбрать следующий ход? Что-то мешало – обоюдное согласие, как тайный сговор?

– Пошли... пошли... в подвал. – Тянул Падамелон, – где-то здесь... ради бога... ради науки... «Апельсин» для «Мандарина»...

Он сделал шаг, все еще думая о книжке.

Мело и пело. Из-под крыши снег не то падал, не то закручивался вихрями вопреки логике, при полном безветрии, подсвеченный с боков невидимыми софитами.

Теперь Он ничего не видел. Если бы кто-то спросил, не сумел бы ответить. Несовпадение мнимого прошлого и расчерченного настоящего. Где-то там, в закоулках, на третьем дне былого величия.

Вели. Даже не стоило поворачиваться – все равно без лиц, без переходов и лестниц. Обнимали с кошачьими повадками, как равного, и уже не тело и не душу с легкостью принуждая, без хаоса и прерываний, понятно, естественно, но все равно зависимым, вторичным, – словно пространство сдернулось с места, предприняло попытку и растеклось в неведении, настороже.

Что же вы хлопчете, златокудрые, наводите глянец на том, что никогда не заблестит под вашим солнцем, не вкусит добра и почестей, не празднует по доброй воле, а живет своей жизнью нисколько не претендуя ни на какую другую, по-своему невразумительную и равнодушную, единственную в своем роде, вынесенную в крайность материи и потому нелепую и чванливую.

– Давайте к нам...

Он доплелся на твердых, негнущихся ногах, плюхнулся на пляжный хлипкий стул, все еще под впечатлением, все еще ощущая вкус мыслей, их прикосновения и радости, и облегченно вздохнул – все кончилось, осталось позади. Он даже чуть оглянулся. Но за спиной ничего не было, и Он не стал смотреть, потому что в стакан прямо из перевернутой бутылки тяжело, комками вывалился кефир.

– Пейте, освежает, – посоветовал Волдемар, – и для здоровья тоже...

Он с облегчением почувствовал себя другим, у него выросли крылья, – словно от святого причастия, словно от духовного покаяния.

– Пейте, пейте, – поддакнул Перец. – У нас здесь целых два ящика, а в час еще подкинут...

Он ногой двинул под столом что-то стеклянное, и в проход между столиками выполз углом синий пластмассовый ящик, полный батареей холодных запотевших бутылок с блестящими жестяными крышечками, смотрящих в яркое, голубое небо уверенно и надежно.

– Каждые три дня прибывают... – пояснил Волдемар, – самим не хватает, – и, обратив на крашеную буфетчицу блудливые, влажные глаза, промазал два раза ногой, а на третий водворил ящик на место.

Он облегченно вздохнул: черт с тем, что за спиной. Сбоку, за папертью о песок плескалось море. Глаза с непривычки щурились. Даль убегала: над солнечной дорожкой, над про-

хладной водой, за противостоящие мысы с бахромой разросшегося леса, прямо в голубеющую лазурь.

Он послушно глотнул тепловатый, белый комок и едва не задохнулся. Глаза полезли из орбит. Легкие перестали дышать.

– А... гмм... хмм... – Он давился и кашлял.

– Ничего-ничего, бывает... – Вольдемар-шофер протянул руку с толстыми, плоскими ногтями и похлопал по спине. – Закусывайте, закусывайте.

В бутылках из-под кефира был чистый самогон.

Сюда бы Падамелона, почему-то решил Он в промежутках между приступами кашля.

– Нет уж... – Вольдемар многозначительно щелкнул пальцем по горлу, – нам эти самые... ни к чему. Мы сами с усами. Правильно, Натали? – и пропел, фальшивя: «На заре ты меня не буди-и-и...»

– Хватит, хватит заливать, – буфетчица высунулась из окошка. – А вот сейчас пожалуйсь кое-кому, живо проверят штамп в паспорте.

Тени колко и плоско торчали над ее головой, как слепой придаток, как отблески иных начал, несовместимые с морем и ярким, летним светом, даже с мыслями.

– Какой штамп? – спросил Он, вытирая слезы и не отрывая глаз от этих жутковатых теней.

– Так ведь... – лукаво произнес Перец (тень за его спиной подрагивала в тон разговора), – приказ за номером бис восемь о женатых и разведенных по рангу и табелям Управления сразу после «Вырождения»... Вы что, не знаете историю дальше?

Он поднял правую бровь и выжидательно замолчал. Может быть, он думал, что приказы бывают только правильными – продукт тридцати трех десятков подлецов и советников, и никогда не сомневался в них. Надо было только поставить подпись и посмотреть, как Алевтина, виляя красивым задом, идет в красных модельных туфлях по толстому, пушистому ковру (Домарощинер бросился с Обрыва – черт знает, какой пунктик обязательств), и ее точеная шейка поворачивается, чтобы одарить жадной улыбкой. И Он не знает, что с ней делать, не в том смысле – спать или не спать, а подсознательно, – что за ее прекрасной попкой скрывается кто-то, кто в нужный момент нажимает кнопку и говорит: «А вызовите мне такого-то и такого-то! На ковер, под белые ручки, чтоб дрожью пробирало!.. И баста!» Ведь и подобный конец небезынтересен и внушает уважительное почтение раба к господину.

– Так у нас уже все изменилось, – произнес Он и расслабленно подумал: «Где-то я его уже видел...» Теплая, с запахом острого пота под мышками, домашняя, как канарейка, или... или... ах, да... библиотека; и, краснея, потупился от воспоминаний, словно это Он сам тянул чемодан по холодным пустым аллеям мимо шербатых скульптур с нецензурными надписями, словно это Он сам восторгался и одновременно страшился Леса и ненавидел Управление, словно это Он, нежный и разморенный, лежал в горячей ванне, в ароматном облаке Алевтиной квартиры, не веря в свое счастье.

Перед ним на краешке сидел Директор – тихий, скромный человек, со светлыми, прозрачными глазами и бесцветными волосами, и Он знал о нем все: и о тайных мыслях, и о родившихся и не родившихся приказах, и о генеральском погоне, и о парабеллуме в сейфе, декорированном под сервант.

– Этого они не учли, – сказал Директор.

– Кто? – удивился Он.

– Как там их, бишь? – Щелкнул пальцами, обращаясь в сторону подчиненного.

– Ну, начальник, обижаешь, – засмеялся Вольдемар и, трезвея, запнулся. – И я забыл...

– Ладно, неважно. Зато они меня выбрали... – твердо, словно оправдываясь, произнес Перец, выпячивая грудь, – сами, очень демократично... Горжусь... от их имени и от имени коллектива... человечества... теперь имею полное право...



– Она меня к Томке с биостанции ревнует, – радостно оборачивая восточное лицо, сообщил Вольдемар. – А у нас, промежду прочим, даже детей общих нет. И засмеялся жирным, густым смехом.

– Да ну тебя, – засмушалась буфетчица. – Вы его не слушайте! Бывают же!..

– Собственно, там ведь другое продолжение, – ободренно вспомнил Он, пытаясь ухватить ломкую, ускользающую грань разговора. – И, вообще, речь идет об улитке. Так что вы ошибаетесь.

– Да? – наигранно удивился Перец.

«... метелкой, метелкой, вынести к солнышку, чтобы пованивало меньше, и приготовить с грибочками на масле провансаль, на закуску из третьего подвала, из пятой бочки, а дворне пива и вчерашние пироги с drankой...»

– Было другое, но его отменили, – бесцветно, манерами клерка третьей руки пояснил он. – Только вот не припомню номера. Впрочем, секретарша... – он вдруг залился краской, – должна знать... во всем должна быть точность. Вот наш общий знакомый, покойный...

– Бросьте вы, господин Перец, – не отрываясь от буфета, произнес Вольдемар и налил новую порцию кефира. – Я б этих баб вывозил на остров и по воскресеньям, не реже двух раз в неделю, на катере с ветерком... а-а-а... остальные дела-а-а... – и, споткнувшись о каменеющее лицо Перца, сразу поменял тон и то ли спросил, то ли приказал: – Будешь экспертом!? – и хлопнул по плечу. – Будешь!

– Буду, – вдруг произнес Он словно сам за себя, словно кто-то за него расписался за чужую жизнь.

– Сейчас доставят одного человечка. И ты нам все расскажешь-объяснишь, – подмигнул Вольдемар не сколько ему, сколько Директору.

– Верите или нет, не могу уволить мерзавца, – доверительно наклоняясь и понижая голос до шепота (словно беря под опеку), пояснил Перец. – Язык что ли укоротить или кастрировать. – А то нам не все ясно.

«... развесить, чтобы сразу всех скопом, лучше, конечно, чтоб меньше возни, – без регистрации, без суда и следствия...»

– Кастрировать уже было, – припомнил Он и впервые позволил себе улыбнуться, ободренный дружескими манерами Директора. Губы были деревянными, словно у куклы, словно с чужого лица.

– Так это ж когда... – кисло напомнил Вольдемар, – это еще...

– Придется повторить, – пообещал Перец, гоняя с щеки на щеку желваки. – А то, знаете ли, отрастает...

«... и подтереться этим самым обоснованием по этой самой третьей статье четвертого уложения бог весть какого года, с печатями и сургучами...»

– А кто ж машину водить будет? – вежливо поинтересовался Вольдемар, красуясь в своей наглости.

Перец сплюнул на асфальт и посмотрел, как слюна испаряется и тает в трещинах.

– Уйду в отставку! – пожаловался он. – Вот полное Вырождение проведу и уйду. Знаете ли, музыка, цветы, сострадательные речи, слезы...

– Какое Вырождение? – спросил Он самым безразличным голосом, чтобы только себя не выдать.

«... а всех подзадержавшихся выставить в плоскость апробированного члена, третий знак степени, чтоб... чтоб... за самовольство и ехидничество, чтобы можно было снисходительно пожурить: «Ах, ты дурачок...» и погладить по соломенной головке.

– То самое, которое ждали...

– ... две тысячи лет... – с пониманием встала Натали, – то, что в Ехоне предсказано...

– Иерихоне, – поправил Перец-Директор и вопросительно приподнял правую бровь.

Чего он ждал от него? Раскрытия тайны? Признания? Жалкие торсионные поля.

Вольдемар нагло и почему-то многозначительно качнул головой и налил себе в стакан.

Тени прятались от горячего солнца.

– Мы теперь не шоферим, – выставя живот, пояснил он после минутного молчания, – мы теперь в охране, – и опрокинул стакан, так что в глубине рта мелькнули полукружия белых зубов с острыми ровными краями, а потом слегка распахнул полы пиджака и похлопал ладонью по боку, где у него на желтых скрипучих ремнях висел блестящий пистолет. И если бы не эти резкие, осторожные тени за его спиной, можно было вообще ни о чем не беспокоиться.

И тогда Он обернулся и увидел, что набережная и бескрайний пляж с золотистым ровным песком и разноцветными зонтиками над крашеными лежаками – пусты. Даже море вокруг было без радостного человеческого говора. Только вдаль, под деревьями и за ними, скрестив руки за спинами, прятались черные, колкие фигуры. Еще одни соглядатаи? Не было ни времени, ни возможности разбираться.

Где же Падамелон и Африканец? тоскливо подумал Он. И сейчас же зазвенело в ушах и противный липкий пот слабости полился по лицу.

Станным и фальшивым все было. Слишком ярко-притягательное небо и бесцветно-прохладное море. И даже буфетчица Натали с таким милым, женским лицом под рыжей, привлекательной челкой, когда поворачивалась или делала вид, что поворачивается и уходит вглубь павильона, представляла сразу невидимой, черной тенью, которая сливалась с плоским жирным мраком за ее спиной.

– Завтра же издам приказ, – заговорил Перец, – набирать в охрану глухих, а главное немых, чтоб не трепались за столом, или сдам в дело к Чачуа. А?!

– Бросьте, братишка, господин директор, старая гвардия предана вам как никто иной, – ни капли не смущаясь, ответил Вольдемар, по-прежнему улыбаясь сладкой восточной улыбкой и играя влажными глазами, как барышник на ярмарке.

Деревья у кинотеатра тоже были фальшивыми, декорациями, выпиленными из картона и раскрашенными зеленой краской.

– Выхода нет, – коротко посетовал Перец. – Но если скажу, лезгинку станцует, будешь танцевать, дорогой?

– Это мы запросто, – согласился бывший шофер. – Зачем, братишка, раздувать огонь.

Только асфальт под ногами был горячим и самым что ни на есть настоящим, в плевках этого фальшивого Директора и в его душевных мыслях.

– Вот так все, чуть что – в штаны, – глядя прямо в глаза, вздохнул Перец. – Нет хороших собеседников. Так что б по душам под водочку со слезой и барашком у горной речки, в тени арчи, так чтобы развернул душу и все выложил, но чтоб без обмана, чтоб я сразу все понял – вот тогда по высшему разряду – чисто и ясно и творить хочется без оговорок и запинаний. Тогда б я вот так... – И он вытянул плоскую, бескровную руку и сжал в кулак.

– Собственно... – начал Он, холодея от предчувствия.

Он хотел сказать, что все понимает, что если спросят, Он сам все расскажет и о книге, и об авторах. Только не стоит так разговаривать на оконечностях и двусмысленно, потому что вон у Вольдемара почему-то все время отклеивается ус и нос, словно пластилиновый, от жары съезжает на рот, а на правой руке семь пальцев вместо пяти, усыпанных грубыми перстнями.

– Не надо-о-о... дорогой, – словно угадав его мысли, с грузинским акцентом пропел Директор, – не надо, а то а-а-абыжу...

И наступила пауза, и они смотрели на него во все глаза и ждали с жадной плотоядностью, что Он скажет, выложит им, чтобы понять этот мир – чужой и странный для них, чтобы не потеть под солнышком от натуги, а с чувством полного удовлетворения говорить: «... и вовсе

не такие они умные эти людишки, а только большой важности надуваются в мерзости своей земной...»

И Он сказал, меряя увиденное и услышанное только своими мерками:

– Пора мне... – И приподнялся.

– Куда же? – с какими-то деланным непониманием пропел Вольдемар, сунув руку за пазуху, чтобы вытащить заветный пистолет.

И сейчас же, визжа на тормозах, из-за угла кривоватой улочки и сладко дышащих кипарисов, мягко приседая, выкатилась большая черная машина и из распахнутых дверей вдруг вывалились (десятки, сотни) огромные и сияющие Падамелоны в шапках-ушанках и с дамскими зонтиками в руках и приплясывающей походкой направились к ним, а такой умный и фальшивый господин Директор, с неземной легкостью рассыпавшись на множество двойников, разведя руки и приседая, как на выходе, понесся навстречу, твердя заведенно:

– Вот мы все и обсудим, вот мы все и обсудим...

И голове ясно и четко откуда-то с выси голосом Падамелона пронеслось: «Не жди...»

И тогда Он понял, что Падамелона уже нет и никогда не будет и что это не люди, а просто живые тени, их мысли из книги, и что сейчас с ним что-то должно случиться – страшное и мерзкое, подлое и неумолимое, навечно заключающее в свой водоворот, как мысли и высказывания Директора, как одноклеточность и плотоядность шофера Вольдемара, как пьянство и старость Падамелона. И тогда Он поднялся и просто ткнул ладонью в черную колкую тень за спиной Водельмара, над его изумленными глазами и перламутровым пистолетом, под визг надушенной Натали: «Караул!!!»

Ткнул, накрутил на кулак и что есть силы дернул.

И тотчас, словно захлопнулось, прокатилось по плечам, обдало гремящей волной, скрутилось кровавым узлом, – пожалело; и Он снова стоял посреди озера, и рядом, задрав морду на длинной шее, сидел Африканец и изучающим взглядом смотрел на него карими глаза и даже пытался повилиять своим обрубок. И тогда Он вставил ноги в лыжи, взял палки, вздохнул и, не оглядываясь, пошел прочь из этого леса, подальше от города, от заблуждений и страхов, к розовато-холодным отсветам на горизонте, к тому, что звало и пело – к Великой Тайне.

## Глава третья. Заводы Мангун-Кале

### 1.

С самого начала им везло и все шло гладко, словно по накатанной дороге.

К концу смены Он получил записку.

Бумага давно стала редкостью, и записка была нацарапана на куске пластика.

Записку принес полоумный уборщик-негр Джо и делал вид, что счищает какую-то грязь с рифленого пола, пока Он копался в карманах.

Он дал ему мятную жвачку – последнее, что у него осталось и что сумел сохранить, несмотря ни на что: ни на тщательные проверки, ни на дошлых, пронырливых пангинов, ни на регулярные банные дни, когда всех скопом загоняли в большой бетонный ящик и поливали холодной водой, и называлось это «санитарной обработкой рабочей силы».

Негр не умел читать, но мог показать записку петралонам, и потому был опасен как свидетель. Почему Пайс доверял негру, Он не знал. Известно ли что-нибудь Сципиону о записке, станет ясно только после ужина, когда пальцеходящие пангины будут перестегивать ошейники, а стопоходящие петралоны появятся перед столовой, чтобы выбрать себе очередную жертву – как они делали всегда, как они сделают сегодня. И это был единственный шанс, но вполне реальный, и они с Пайсом вычислили его.

Он сунул негру кусок липкой резины с крошками приставшего табака. И негр обрадовался, растянул толстые, влажные губы и сразу прямо с бумагой записал жвачку в рот, втянув впалые щеки, и глаза у него с мраморными в прожилку белками блаженно сощурились, затуманились. Потом он воровато оглянулся по сторонам и, припадая на левую ногу, поспешил по коридору, придерживаясь одной рукой за цепь, а другой ловко подхватывая с пола специальной щеткой невидимый мусор. Завод был образцово-показательным и стерильным, как операционная салфетка.

Записка была от Пайса.

В ней, путая русские и английские слова, словно барочный интеллектуал, он писал, что будет ждать их в шестом вентиляционном стволе сразу после ужина и что у него, у Пайса, все готово. А это означало, что с сегодняшнего дня в шахте 6-Бис каждую вторую смену будет производиться пуск, что наконец-то изготовлены ключи и что у побега есть все шансы завершиться благополучно, если, конечно, их не поймают прежде, чем они минуют внутреннюю охрану, прежде чем в шахте запустят двигатели, а им удастся нырнуть в шестой колодец, откуда начинался центральный сток, который вынесет их в черноречный каньон, и прежде, чем они выберутся за тридцатикилометровую зону, в сторону моря, если, разумеется, ее не успеют оцепить (да и будут ли оцеплять?), и если, конечно, наверху все то же самое, что было и полгода назад, и год, и столетие, и черт знает когда. В конце по-русски было приписано: «Осадим и этот кнехт!». Это была его любимая поговорка, но ему не хватало русского бахвальства, чтобы правильно ее произносить.

Он вздохнул и переменял позу – вытянул правую ногу между ящиками со стружкой и чугунным литьем и подождал, пока в ней не возобновится кровообращение.

В конце смены Он отползал сюда каждый час минут на пятнадцать, потому что место было закрытое и не просматривалось охраной. Он ждал записки два месяца и дождался.

Потом Он незаметно кивнул бригадиру.

И Поп-викарий сделал вид, что работает еще усерднее, водя напильником по отливке. Хуго-немец еще ниже склонился над верстаком, стараясь как всегда от свистка до свистка, –

ничего не поделаешь – дойч-воспитание. И остальные: Клипса, по кличке Мясо, искусно фило-нил, покуривая в кулаке раздобытую у пангинов сигарету. Ван-Вэй, поклонник Цинь Ши-Хуана – императора, который построил Великую Китайскую стену, с завистью косился, не решаясь попросить затянуться; а Мексиканец, привычно шевеля губами, отрешенно тянул псалом: «Не ревнуй злодеям-м-м... не завидуй делающим беззаконие-е-е... ибо они, как трава, скоро будут скошены, и, как зеленеющий злак, увянут... и выведи, как свет... Ох-х-х...», или еще что-то подобное – откуда ему знать.

В общем, все как обычно до тошноты, если бы не внимательный взгляд Попа и робкий Ван-Вэйя, и воодушевленный Мексиканца, и Хуго, и ничего не подозревающего Клипсы по кличке Мясо.

Как обычно и даже чересчур, и Он подумал, что Клипса – это их козырная карта, туз, меченая шестеркой. И теперь надо было правильно разыграть ее, и сорвать банк.

Он кивнул, и Поп, бывший управляющий компанией «Роял Нигер» в Западной Африке, имевший когда-то счет в Центральном Швейцарском банке и виллу на озере Ньяса, верный своей привычке, кривовато ухмыльнулся так, что розовый шрам, не зарастающий щетиной, поехал гармошкой и сделал его обладателя похожим на разбитного лондонского кокни.

И сразу бригада ожила: белобрысый Хуго, облапав Ван-Вэйя, что-то шепнул ему на ухо, и китаец, матрос желтой флотилии Сицзян, стражник Ивового рубежа, колодник императорской тюрьмы, а теперь просто – раб горы Мангун-Кале – Отчей Горы, согласно закивал головой, оскаливая под пустой губой редкие зубы (каждую десятую смену какой-нибудь пангин ради забавы брил его ржавым штыком), Мексиканец, потомок мешитеков и касиков из рода Анауака, а затем – просто собиратель опунции в Тлапакое, перестал читать молитву и, закатив глаза под потолок, радостно заулыбался, один Клипса нагловато – двумя пальцами – блаженствовал со своей сигаретой, ни о чем не подозревая, как не должен подозревать петух о кипящей кастрюле.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.